



Сергей Павлов
О ЗВУКАХ

Рассказы, повесть



Об авторе

Сергей Михайлович Павлов родился в городе Белово Кемеровской области в семье шахтера. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Автор 16 книг (художественные, краеведение, публицистика). Лауреат региональных литературных премий и премий МВД РФ. Подполковник милиции в отставке. Живет и работает в Кемерово.



О ЗВУКАХ

Рассказы

Мир полон звуков. Они с нами всюду, от первого крика новорожденного – до предсмертного хрипа умирающего. Мы существуем в мире звуков, они живут в нас. Но как же редко мы задумывается над вопросом: я и звук.

Для большинства людей он существует в плане «громко» – «тихо». Резанет по ушам децибеллами – громко! Надо его убавить. Звучит что-то тихо, невнятно – прибавляем громкость. А сколько разных звуков – от шепота до рева – остаются вне нашего внимания. А, может быть, в этом есть своя благодать, что из океана звуков мы выделяем для себя лишь малую толику их?...

Наверное, впервые я всерьез задумался о роли звуков в жизни человека, когда в одной книге о войне прочитал удивительную фразу: «Военные просыпаются от тишины...». Все четыре слова, простые, понятные, но в этой связке они являют парадоксальное наблюдение о взаимоотношении человека и звука. Ведь в обыденной жизни все наоборот: здоровый, крепкий сон требует тишины, покоя, а здесь... Ненормальность обстановки вызывает ненормальность поведения человека. Война! Самое страшное состояние, в которое может быть вовлечен человек: рожденный жить, идет убивать себе подобных, или быть убитым самому... Вот такой непростой ассоциативный ряд невольно выстроился в моем сознании после прочтения четырех слов – «Военные просыпаются от тишины...»

Наша избирательность к звукам – великое благо, иначе как объяснить то состояние, когда мы, пресытившись шумом и суетой повседневной городской жизни, стремимся на природу – в шелестящий покой леса, к безмолвной тиши озера... И уже в первые минуты начинает казаться, что ты совсем один на белом свете, что ты растворился в пронзительной тишине, стал невесом и паришь туда, вверх, в темное безмолвие, к холодным и далеким звездам, которые кто-то зажигает над нашей головой с завидным постоянством. ТИ-ШИ-НА!..

...Но проходит совсем немного времени, и твой слух начинает выделять в этом ночном безмолвии легкие, прозрачные звуки. Они

не наваливаются на тебя, не обрушиваются внезапно и неодолимо, как это случается в большом суетливом городе, а проникают в твое сознание исподволь, мягко, нежно через трель цикад, треск дров в догорающем костре, шелест листьев в ночной тиши, едва уловимый плеск воды лесного озера от разыгравшейся рыбы. Через эти трепетные звуки ты ощущаешь свою связь с жизнью, с природой, и именно они вызывают у тебя неудержимое желание как можно дольше оставаться в этом сладостном состоянии парения между небом и землей, между бытием и вечностью.

Но вот в естество природных звуков вплетается еще один, волнующий душу – звук музыки. Слабый, робкий, он доносится с противоположного берега лесного озера. Там, в заозерной дали, кто-то, не услышав голоса природы, включил свой радиоприемник или магнитофон, и над дремлющей гладью озера полились нежные звуки музыки. Слух не сразу определяет упоительную мелодию «Одинокого пастуха» Джеймса Ласта. Боже! Как пронзительно плачет флейта, передавая неразделенную грусть влюбленного юноши! Мгновение – и чарующая музыка заполонила собой темную чашу озера, вспугнула тишину с припавших к воде берегов, запуталась в прибрежных камышах, заставив их дрожать в унисон мелодии. И тебе уже кажется, что не звуки музыки, а сама жизнь оживает в этой волшебной ночной тиши, а память уносит тебя в далекую светлую юность...

... Нас много. Мы вместе. Мы танцуем. Последний день сезона в пионерском лагере – прощальный вечер. Уже завтра мы все разъедемся по своим городам и поселкам, чтобы уже, наверное, никогда больше не встретиться, но сегодня мы еще вместе, и у нас остаются какие-то часы, минуты, секунды. Но как стремительно они тают, приближая нашу разлуку...

Время, проведенное в лагере, сдружило нас, а кто-то узнал пронзительное чувство первой влюбленности, но день завтрашний уже сурово надвигался, готовый разрушить наш мир. Словно понимая скоротечность сущего момента, кто-то постоянно ставил одну и ту же пластинку – «Одинокого пастуха» – но никто в зале не возражал, потому что каждый в душе грустил вместе с флейтой влюбленного пастуха. Моя девушка пытается что-то объяснить мне, она говорит хорошие и нежные слова, но, вдруг проникшись щемящей тоской музыки, она умолкает, глаза ее блестят от

навернувшихся слез, и наш танец продолжается в полном молчании. А в зале звучала музыка...

Почему же сейчас, на берегу лесного озера, мне вдруг вспомнился тот танец, закрытый от дня сегодняшнего многими годами. Полжизни отделяют меня, зрелого мужчину, от того влюбленного юноши, тридцать лет! И только звуки той проникновенно-грустной мелодии связывают воедино мужчину и юношу, дают ощущение масштаба прожитых лет...

А существует ли мир без звуков, и каков он?

СУРДОКАМЕРА...Строго ограниченный мирок, лишенный всякого звука. Но это не жизнь, это – эксперимент. Мир, доступный ученым и космонавтам. Он не для нас, чтобы сейчас говорить о нем...

МИР ГЛУХОНЕМЫХ... Мир вечной тишины, мир вечной трагедии. Уже сама мысль страшит: как можно жить и не слышать голоса любимой женщины, крика родившегося ребенка; не наслаждаться живыми звуками природы, наконец, не предаться светлой грусти мелодии флейты одинокого пастуха...

МОГИЛЬНАЯ ТИШИНА... Этот мир абсолютного безмолвия пока далек от нас, живущих под этим ласковым солнцем. Но он ждет и, увы, дождется каждого в урочный час...

... Я умер однажды. Казалось, я почувствовал дыхание инферно – мира зноя, безмолвия и темноты. Этот мир нашел меня на глубине трехсот метров, в шахте, когда я отстал от своих товарищей-шахтеров. Устал, решил отдохнуть. Догоню, думал я, а дорогу найду по течению ручья. Через минуту восстановилось дыхание после быстрой ходьбы и ... я услышал тишину! Абсолютную, обволакивающую, мертвую... Растаяли вдали голоса и звуки шагов уходящих друзей – камень нещадно растворил их в себе. Триста метров грунта над головой надежно укрыли меня от всего живого. Не было слышно шума постоянно работающего где-то вентилятора, и воздух, застойно-горячий, безмолвно облепил мое лицо, а изнуряющий жар, исходящий из недр земли, уподобил меня грешнику, попавшему в ад. В этот миг погас мой фонарь, и кромешная тьма, усиленная мертвым безмолвием, цепко взяла меня в плен. Уже через мгновение я потерял ориентацию в пространстве. И, если следуя закону земного притяжения, ноги мои стояли на каменном полу, а над головой находился такой же мертво-каменный потолок,

то направление, куда ушли мои друзья, я уже не мог определить. Я, словно, завис в этой черной безжизненной пустоте, я перестал быть, я умер...

Хорошо, что друзья вовремя вспомнили обо мне, о потерявшемся журналисте, и вернулись назад. Их громко звучащие в мертвой тишине голоса, огни аккумуляторных ламп и теплые руки вернули меня в мир живой. И я в очередной раз для себя понял: жизнь пришла ко мне с миром звуков. Также одновременно жизнь и звуки уйдут от меня. Это случится, обязательно случится, и, наверное, это будет страшно. Но пока мир звуков со мной – жизнь продолжается...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ... НАКАЗАНИЕ

Электропоезд с минуты на минуту должен был отправиться со станции Тайга. Пассажиры, уняв предпосадочную лихорадку, разместились в вагонах и бросали прощальные взгляды на здание вокзала. Вдруг их внимание привлек неряшливого вида мужичок с початой бутылкой пива, невесть откуда вывалившийся на перрон.

Осмотревшись по сторонам, он деловито допил пиво, а пустую бутылку кинул в рядом стоящую урну. Даже невооруженным глазом было видно, что мужичок изрядно пьян. Но он старался держаться прямо, что называется, «держал спину», и оттого казался еще более пьяным и смешным.

Но вот он вздернулся, как боевая лошадь при звуке трубы, завертел головой по сторонам, засучил ногами... Остановив проходившую рядом женщину, он что-то спросил ее, но та лишь рассмеялась в ответ и пошла дальше. А вот старику с рюкзаком на спине улизнуть не удалось, и он принялся что-то объяснять выпивохе, показывая на строение за зданием вокзала, помеченное крупными буквами «М» и «Ж». Но мужичку, похоже, было уже невтерпех / пиво есть пиво!/, и он, оставив старика в покое, бросился к фасаду здания вокзала. Далеко запрокинув голову назад, в полуприсяд он стал... справлять малую нужду. Это занятие так поглотило его, что он не замечал ни проходивших мимо людей, ни стоявшего у перрона электропоезда, ни молоденького милиционера в полушубке, который, под смешки прохожих, пытался образумить нарушителя общественной морали. Поняв тщету своих усилий, милиционер сорвал шапку с головы любителя пива и подставил ее ему вместо горшка. Последний был настолько увлечен процессом, что остановиться уже не мог...

Когда с нуждой, наконец, было покончено и хулиган занялся своими штанами, милиционер ловко подхватил с земли шапку вместе с ее содержимым и надел тому на голову. Душ был не из приятных! Не давая опомниться, милиционер схватил его за рукав и повел с перрона. Мужичок, сознавая свою вину, шел покорно, понутив мокрую голову. Доведя пьянчужку до угла вокзала, сотрудник слегка поддал ему коленом под зад, и отпустил. Еще не веря в свою удачу, тот кинулся прочь, на ходу поддерживая разбухшую шапку. Хохот летел вслед незадачливому хулигану. Так средь бела дня и на глаза сотен людей свершились Преступление и Наказание... УНИЖЕНИЕМ.

СЮЖЕТ В СТИЛЕ «НЮ»

В бытность одной из моих командировок в Новосибирск в далекие 80-е возвращался я в гостиницу, и по пути купил попавшийся мне на глаза немецкий журнал. Богато оформленный, он изобилует прекрасными цветными фотографиями, среди которых нет-нет да и проглядывала так нелюбимая нашей цензурой «обнаженка».

Поэтому, а может быть, по каким другим причинам, но журнал моментально раскупался любознательными «совками». И в том номере на задней обложке было цветное фото: обнаженная красивая женщина томно нежилась на летнем солнце, подставив ему свое стройное загорелое тело, на котором мелким бисером лучились капли воды. Не женщина, а «гений чистой красоты»! Снимок привлек мое внимание еще и потому, что волоокая красавица была удивительно похожа на популярную советскую актрису, в которую тогда, после выхода фильма «Хождение по мукам», были влюблены все мужчины Советского Союза... После беспокойного дня я надеялся в тиши гостиничного номера полистать иноземный журнал и полюбоваться на первозданную женскую красоту. Ан не пришлось...

За время моего отсутствия ко мне в номер подселили соседа. Мой ровесник, небольшого роста, он имел незатейливое лицо крестьянского парня и крупные, огрубевшие от черновой работы руки. Нарочитая медлительность его движений сопровождалась манерой говорить с неоправданным раздумьем над каждым словом и урезанием одного из слогов в глаголах: «бывает, знаш...» и т.п. Уже первые наблюдения позволили мне безошибочно определить, что Петро (а именно так он мне представился) родом из тех мест, которые всегда назывались российской глубинкой...

После небольшой ознакомительной беседы каждый занялся своим делом: я листал свежий номер «Комсомолки», откладывая свидание с журналом на более поздний срок, а Петро, что-то напевая себе под нос, подошел к раскрытому окну. Там, внизу, шелестел автомобильными шинами Красный проспект, а рекламные огни разноцветными сполохами освещали аскетичное лицо моего соседа. Он некоторое время, молча, изучал движение людей около оперного театра, и затем произнес в задумчивости:

– Шебуршатся, прям как мураши...

В меланхоличной задумчивости он направился к своей кровати, и тут ему на глаза попал отливающий глянцем журнал. Он застыл на мгновение, в глазах появился интерес и, забыв спросить разрешение, Петро энергично принялся его листать. Разглядывая фотографии, он хмурил лоб, что-то жевал губами, словно пытаюсь разобрать немецкий текст, пока, наконец, не понял, что написано не по-русски.

– Читаш по-ненашему? – Недоверчиво спросил он.

По достоинству оценив конструкцию его вопроса, я невольно ответил ему в тон:

– Читаш – нет, только смотриш...

Он серьезно посмотрел на меня, но, не уловив иронии, продолжал беседу в том же духе:

– Тока и остается смотреть, чо больше-то?

Тут он перевернул последнюю страницу журнала и увидел обнаженную красавицу. От неожиданности Петро сильно вздрогнул и чуть не выронил журнал. Бросив мимолетный взгляд на меня, как на нескромного свидетеля, он снова с головой ушел в созерцание фотографии. Было видно, что Петро не был избалован такими картинками. Минут пять он рассматривал снимок, поворачивая журнал то так, то эдак, ладонью провел по нему, словно проверяя, хорошо ли держится красавица на его поверхности. Его глубоко посаженные серые глаза то широко раскрывались, то превращались в китайские щелочки – все говорило за то, что в его голове идет колоссальной трудности работа. Наконец, он что-то решил для себя и многозначительно произнес:

– Да-а...

Все это время я с интересом наблюдал за ним и не преминул задать вопрос, который так и вертелся у меня на языке:

– Ну, как женщина, Петро? Нравится?

Он снова взглянул на фото, будто прицениваясь, немного помолчал, громко цыкнул, словно у него мясо навязло в зубах, и наконец, произнес:

– Тош-ша больно! У моей Таньки титьки больше!...

Эти слова прозвучали как приговор женской красоте, и мне почему-то стало обидно за безымянную обнаженную красавицу.

...Утром, когда я проснулся, Петра в номере уже не было. Вместе с ним исчез и мой журнал с красавицей...

ХУЛИГАН

Автобус неумолимо трясло на дорожных ухабах. Немногочисленные пассажиры уныло рассматривали сквозь давно немые стекла знакомый антураж родного города, кое-кто негромко переговаривался между собой, и лишь один крепко подвыпивший мужичок средних лет донимал досужими разговорами какого-то старичка, ненароком оказавшегося рядом с ним на сиденье.

Старичку явно не нравилась компания разговорчивого соседа, он отвернулся от него и также уставился в окно. Рассердившись на такое невнимание, мужичок повысил голос, а когда старик попытался встать, пьяный грубо усадил его на место:

– Сиди, старый! Выйдешь после меня!...– и при этом добавил такое словцо, что дед только поежился. И без того негромкие разговоры в салоне затихли.

– Гражданин, немедленно прекратите выражаться! – вступилась было за пожилого пассажира кондуктор.– Если вы выпили, то...

– Да пошла ты на ...!

И благородный гнев кондуктора захлебнулся в самом своем начале. Народ в салоне безмолвствовал. А пьяный между тем продолжал теревить деда, уже ничуть не смущаясь непечатных выражений. Похоже, получив карт-бланш от своих попутчиков, он решил им воспользоваться на полную катушку...

...На следующей остановке в салон автобуса вошел милиционер. Как положено, он был фуражке, в мундире, а на его погонах тускло блестели маленькие звездочки. Поскольку он вошел через заднюю дверь, то оказался за спиной разошедшегося мужичка. Не видя блюстителя порядка, мужичок продолжал вести себя разнузданно. Кондуктор с надеждой глядела в сторону милиционера, но тот усиленно не хотел слышать всех скабрзностей хулигана. И тогда она предприняла еще одну попытку обуздать пьяницу:

– Гражданин, если вы не прекратите выражаться, я вас сдам сотруднику милиции!...

Ее голос буквально звенел от негодования. Хулиган с наглой улыбкой повернулся к кондуктору.

– Да я тебя...– и тут он увидел стоявшего милиционера. Этого было достаточно, чтобы он весь съежился, затих и сделался почти невидимым на сиденье рядом с обиженным стариком. Милиционер же, кинув ленивый взгляд на пьяного, бросил кондуктору:

– Некогда мне, у меня обед, а этого гони отсюда на ...!

Нервно вздрогнув, кондуктор моментально сникла, пассажиры продолжали безмолвствовать, а хулиган вновь расправил плечи: теперь в автобусе было уже два хулигана...

ЭПИКУРЕЕЦ

Алкоголиком Федя не был, но выпивку уважал и свои симпатии к ней не скрывал ни от кого, в том числе и от Зинки, когда еще «женихался». А чего скрывать? Всяк по-своему с ума сходит. Один от футбола шалеет, другой – курит как паровоз, третий– все ночи напролет проводит за преферансом, и ведь никто не судит их так строго, как любителей «зеленого змия». А тут посчастливилось ему

вычитать в какой-то газетке, как один знаменитый академик, «специалист по сердечным болезням», рекомендовал здоровым людям принимать перед едой по стопочке. Советует - значит знает, ведь он же А-КА-ДЕ-МИК! Водочка – она ведь кровь по жилам заставляет веселее бегать да атеросклерозу не дает развиваться. Говорят, ни один алкаш еще от этой болезни не помер – чистые сосуды! Правда, у них всяких других болячек хватает: язва, например, цирроз печени и прочая зараза, но ведь не атеросклероз же! Но народ-то дикий – все одно не понимает Федину жизненную позицию, а все оттого, что не читали они того знаменитого академика, а то враз бы поумнели. А пока ему приходится терпеть всякие упреки да нехорошие намеки в свой адрес: алкаш, мол, ни дня без рюмки не можешь! Ни поддержки тебе, ни сочувствия – эх, серость непьющая!...

Федя, когда с Зинкой еще только начинал дружить, уже выпивал, но по легкому: немного десертного или сухенького мог хватануть, пивка, а на крайний случай, мог и «Агдамчика» пригубить. Сначала для храбрости (очень уж девок он стеснялся в молодости, и потому до сих пор уверен, что если бы «не это дело» перед танцами, век бы он не насмелился подойти к Зинке). Затем «принимал» уже для веселья, а потом – по привычке. И шибко-то не скрывал своего хобби от Зинки: все должно быть по-честному – знай, с кем собираешься жизненную стратегию строить! Не принц заморский, а простой рабочий парень с химзавода. Дружили, целовались. Возникла было Зинка: от тебя вином, мол, пахнет, некрасиво это... Федя тут же сделал правильный вывод, и резко...сократил количество поцелуйчиков. Подумаешь, радость – обмен микробами! Да и вообще, Федя рано понял, что целоваться надо только в день свадьбы, под пьяный рев гостей: «Горько!». Ни до, ни после. Баловство это одно, не царское это дело, одним словом. И хотя Федя никак не тянул на царя Федора Иоановича, а поговорку эту теперь часто употреблял, впопад- невпопад – неважно. На душу она ему легла...

Через открытость и непосредственность у Феде не раз случались неприятности. Вот, к примеру, когда ходил он на «смотрины» к Зинкиным родителям... Казалось бы, все с Зинкой обговорили накануне, чтобы родителям понравиться, а вот как за столом себя

вести – забыли. Видно, посчитали, что каждый за себя понимает, а потому и конфуз вышел...

Пришли, познакомились, разговоры общие, то да се, а тут и за стол время пришло. Тестек будущий то ли слишком хлебосольным оказался, то ли слишком хитрым – не понял с первого раза Федя. Вино льет в стаканы под самую завязочку, пьет много, смотрит весело, говорит ласково и складно – грех не уважить такого человека! Час только посидели за столом, а уж три стакана уронили в себя. И хоть Федя не упал под стол, а все же лицом разгорелся – хоть прикуривай от него! Сидит он так и радуется: угодил будущему тестюхе! А Зинка ему потом со слезами выговорила: мать совсем напугал. Ты, говорит, дочка, где такого алкаша нашла?... Услышал Федя такие слова – чуть не задохнулся от возмущения и обиды: ведь уважить хотел будущих родственников, а что получилось из этого?! И от того еще обиднее стало ему, что краем глаза он видел, что сама будущая теща ни одного стаканчика мимо рта не пронесла, а ему, значит, такой приговор вынесла – алкаш! Ладно, переморщился Федя и сделал для себя нужный вывод...

Вскоре снова какой-то повод выдался посидеть за столом с двоюродными папой и мамой, так он там на все приглашения отвечал вежливым отказом: не пью, мол, и не тянет!... На душе, конечно, было тяжело и противно, но принцип-то надо было выдерживать – и выдержал, да только в тот же вечер нечаянно услышал, как мать допрашивала Зинку:

– Чевой-то твой Федька от вина рыло воротит, иль допился до «белой горячки»? Что ж ты с ним таким больным делать-то будешь?

Услышал это Федя и обалдел от женской логики: пьешь – плохо, не пьешь – тоже плохо! А как быть?! Махнул он рукой на все чужие мнения, и решил в жизни оставаться самим собой со всеми своими «плюсами» и «минусами». Все равно, решил он, если их все в кучку собрать, то «плюсов»-то у него поболее наберется, а значит, кто захочет, то и такого полюбит. Похоже, правильно расчет сделал, поскольку очень скоро они с Зинкой поженились...

Сейчас он уже толком не помнит, почему сразу после свадьбы вопрос о его пристрастии к выпивке не возникал. То ли он невольно укорот себе дал на этот нежный период семейной жизни, то ли

Зинка, по молодости, не замечала, а может быть просто решила не травмировать раньше времени новоиспеченного суженого жесткой критикой. Как то бы ни было, но ни разу не поругались они с Зинулей через посредство «зеленого змия»... А тут Федя загремел в армию, точнее, на флот, на целых три года, а там из напитков только соленой водицы за бортом вдоволь, а про водку пришлось надежно забыть. Хочешь-не хочешь, а ослабил он свое внимание к алкоголю на целых три года, хотя, если честно признаться, то он иногда крепко зашибал... во сне. А проснется: гамаки кругом и трезвые постные рожи товарищей да много-много соленой воды в океане. Уж мне только до дому добраться, как клятву повторял про себя Федя, крепче стискивая зубы, там-то я отыграюсь за все упущенное!...

Долго, нудно тянулись три года, но и они прошли, добрался, наконец, Федя до дома, а в это время какие-то придурки «наверху» принялись бороться с алкоголизмом. Свои цистерны, видать, повылакали, а ему, молодому и здоровому, не дают! Ну, где она, справедливость?! Года три-четыре длился этот трезвый беспредел, пока кто-то там же наверху не понял, наконец, что нельзя русского мужика от водки отлучать – беда может случиться! Как бы то ни было, а наступило, наконец, послабление по водке. «Трезвых» дураков куда-то задвинули, словно бы их и не было вовсе, появились новые, «употребляющие», а то и вовсе «злоупотребляющие», и шлюзы открылись: пей- не хочу! Впрочем, Федя всегда хотел, да и один он разве – все припали к водочным рекам с колбасными берегами. Дело прошлое, а все же, думал Федя, сколько народ всяких гадостей натерпелся за эти годы, и ведь никто не ответил за унижения, а традиционный для Руси вопрос: « Кто виноват?», как всегда остался без ответа...

...Новые времена звали жить по-новому, и Федя без особого труда воскресил сладостное состояние легкого перманентного похмелья. В запойный штопор он никогда не уходил – срабатывал какой-то внутренний «стоп-кран», а состояние вечного «под шефе» помогало ему в жизни: крупные неудачи не казались таковыми, а мелкие он и вовсе не замечал. А это, знаете ли, уже само по себе здорово – нервная система, словно за броней!

Без особых усилий Федя пришел к выводу, что день без стопки-бездарно прожитый день! И он старался жить полнокровной,

одухотворенной тем божественным напитком жизнью. Книжек, по правде, Федя прочитал не так много на своем веку, но где-то все же выцепил такое выражение, что в жизни должны быть праздники, и что сама жизнь, как песня, а что за праздник, что за песня на Руси без выпивки? Издевательство одно! И принимал он ее родимую на грудь, словно выполнял возложенную на него кем-то свыше ответственную миссию. Зинка, вроде бы, уже стала уставать в борьбе с ним за безалкогольный быт, так тут теща-вредина заводит ее: побольше по дому загружай его работой, дачку купите и пусть он там в земле ковыряется от зари до зари, глядишь на пьянку меньше времени останется... По магазинам вместе ходите, а если одного посылаешь, то денег давай тика-в-тику, только на продукты. Мужики, мол, что дети: от любого излишка (будь то деньги или свобода) шалеют и делают глупости, которые потом женщинам приходится исправлять. Такие вот тещины происки были направлены против него, против Феде.

- 2 -

Вообще-то за продуктами по магазинам Зинка бегаёт сама, а он, Федя, всегда считал это дело глубоко постыдным для мужика. Нет, если там, скажем, пошел за бутылкой, а в довесок прихватил булку хлеба да палку колбасы – это куда ни шло, ну, а если вот так, за здорово живешь, с авоськой по магазинам ... Увольте! И так он четко держал свой принцип все 45 лет, из которых он двадцать с лишним лет бездумно разменял на семейную жизнь с Зинкой. Ситуация изменилась, когда он вышел на пенсию «по химии», и оттого постоянно сидел дома. Тут хочешь-не хочешь, а приходилось нарушать свой принцип ...бегать по магазинам.

Обдумав на досуге свой новый статус пенсионера и единственного снабженца всей семьи, решил он несколько изменить тактику, поскольку сообразил, что вполне можно безболезненно удовлетворять запросы как семьи, так и свои, глубоко личные. А они таковые были... Вот, к примеру, надо ему сэкономить себе на бутылку. Можно, конечно, взять из денег на продукты 50 рублей и, злоупотребляя положением хозяина дома, купить себе бутылку... и выпить ее. Но ведь нельзя совсем со счетов скидывать мнение Зинки и двух уже невестившихся дочек – Маши и Даши. Да и пить-то ее родимую под недовольное ворчание супруги нет никакой

радости. Потому он и разработал свою собственную стратегию выживания в окружении «недружественной и агрессивной среды». К примеру, нужно ему, край, разжиться деньгами на чекушку, так он не станет брать 1 кг колбасы, а возьмет 800 граммов, но Зинке скажет, что взял «кило», а если его благоверная вдруг не поверит ему, то можно всегда сослаться, что его, старого и мирного пенсионера, в магазине нагло обвесили, что в советские времена случалось сплошь и рядом. Попробуй докажи обратное, если чеки Федя всегда «терял», а без них тебя и уличить-то нечем... Даже Зинка со своим веселым и взрывным характером без чека не пойдет разбираться с наглой продавщицей. То же самое можно проделать и с сыром, и с маслом... Если этого мало и на чекушку еще не хватает, тогда Федя покупает молоко по одной цене, а дома называет цену другую. Разницу- себе. Возмутится если Зинка, что дорого..., а мало ли теперь магазинов и «комков», и везде цена разная – разве упомнит Федя, где он сегодня купил, а где вчера. Так вот и получается: с миру по нитке, а голому...штаны. Это Федя так шутил, хотя штаны ему, конечно, были не нужны – его водочка больше интересовала. При больших объемах закупа продуктов запросто удавалось «сэкономить» на чекушку, которую он тут же, за павильоном, приговаривал и заедал помидором или пирожком, купленными на сдачу. Ну, а если совсем плохо дело обстояло с деньгами, то Федя соглашался и на «мерзавчик», а его-то он одолевал без всякой закуски, здесь же, отвернувшись в любой угол торговых рядов. Такой вот уклад жизни сложился у Феде после выхода на заслуженный отдых...

Догадывалась ли Зинка о происках Феде? Наверное, и даже наверняка, ведь не дура же она была, да и Федею изучила за все эти годы как облупленного. Недовольство начала выказывать, ругаться, но Федя был неисправим, и тогда она пошла на радикальные меры – отлучила мужа от семейного бюджета... от кошелька, значит. Сделать это было нетрудно, все не «трубу» в Чечне отключить – без войны обошлось. Правда, Федя попробовал было опротестовать драконовское решение, но вскоре убедился, что ругаться с Зинкой – себе дороже: кремень баба! И Федя ее все же любил, да и дочери дружно выражали поддержку матери, и он – смирился...Так «добытчиком» в их семье теперь стала «мама Зина»... Теперь она приходила из магазинов, как перегруженный

«Камаз». В один момент Феде даже показалось, что руки у жены стали длиннее – ниже колен висят... Правда, потом, когда трезвый повнимательнее пригляделся, то вздохнул с облегчением: показалось! Нормальные руки, рабочие, как у многих русских женщин. А для Феде наступила новая эра существования...

- 3 -

Федя не знал, кто такой был Эпикур. В школе не проходили, да и книжки про него как-то не подвернулись ему под руку, но от кого-то из своих дружков он прознал, что этот Эпикур был веселый, бесшабашный человек: вино, друзья, женщины – и Федя заочно его зауважал. Ведь у него тоже было много друзей. Сложнее – с женщинами, да, впрочем, Зинка одна целого батальона эпикуровских баб стоила! И хотя Федя не мог долго думать о чем-то и складно рассуждать (такая уж у него голова стала, после того, как он в детстве со стайки упал, аккуратно ею вниз!), а все же решил про себя, что эпикурейцем называется тот, что пьет, балдеет, весело живет... Как только определился со своим статусом – жить легче стало. А когда Зинка подступилась к нему в очередной раз с ультиматумом: или – я, или – водка, он ей так мудро, с хитрой улыбкой ответил, что она потом на него три дня с уважением смотрела:

– Эпикуреец я, Зина! Тебе ли меня обсуждать, несчастная!...

– Ой!– ужаснулась Зинка,– это что же, алкаш что ли?...

– Серость неграмотная!– пренебрежительно ответил Федя и направился к двери.– Извини, Зинуля, но меня ждут друзья-эпикурейцы...

С тем и ушел...

Да, были у него друзья, хотя, если разобраться, скорее это были приятели по интересам, точнее, «по интересу к...» – эпикурейцы, одним словом. У некоторых он даже фамилий не знал, только по именам: Витек, Колек, Боб (Борис, значит), Банан... Встречались они 1-2 раза в неделю где-нибудь в тихом скверике, неподалеку от винно-водочного магазина, или на площадке около детского сада, после того, как родители разбирали оттуда своих чад. Пили, что Бог пошлет, говорили неторопливо, порой не замечая того, что данная

новость обсуждалась ими уже второй, а то и третий раз на неделе. Никаких тебе обязательств, никаких серьезных проблем. Впрочем, все эти посиделки остались для Федора в прошлой жизни, когда он еще зарплату получал, а как ушел «на заслуженный...», тут случился с ним финансовый голод, а вслед за ним и алкогольный. Вот тут-то все его друзья – эпикурейцы предстали совсем в ином свете...

Оно ведь как было у них раньше-то: сегодня ты угощаешь, завтра у меня есть – я угощаю, вот и дружбаны! А тут другая ситуация получилась: сегодня тебя угостили, завтра налили, и послезавтра плеснули в стакан, ну а потом-то приятели-эпикурейцы стали требовать встречное угощение, а у Феди не оказалось материальных ресурсов.

– Верить-нет, все Зинка вчистую отнимает – зверь баба! – пожаловался было он одному приятелю, а тот его на смех поднял. Другому, когда тот стал намекать, что не прочь бы похмелиться за Федин счет, ничего не стал объяснять: «Не хочу, мол, и все тут...». Думал, обойдется, а случилась незадача...

– Как это «не хочу»? – наседал на него Боб-эпикурец, чувствуя немую поддержку Витька, также больному на всю голову, – вчера хотел, когда на наши деньги пил, позавчера, а сегодня вдруг расхотел!?!...

– Вот так получается, – ответил смиренно Федя, желая загасить конфликт в самом начале, но не тут-то было. Боб, Витек, и, как назло, подваливший к ним Колек, непременно хотели сатисфакции в виде бутылки, но позиция Федора их настораживала.

– Ты чо, в натуре, – хором кричали они, – издеваешься?! Не хочешь – не пей, а друга уважь, а то вишь, чо придумал...

Еле с миром разошлись (подвернулся какой-то денежный эпикурец, «развел стрелки»), а то бы не сохранить Феде свое лицо от знакомства с кулаками Боба, а они у него ого-го какие! Стал с тех пор Федя сторониться своих прежних приятелей, понял, что халявщиков нигде не любят, а про себя на досуге вновь глубоко задумался, как же ему строить дальше свою жизненную линию. Долго думал, и придумал-таки...

Забросил он своих друзей – решил вести жизнь эпикурейца-одиночки. И для начала дал себе слово, что пить будет только по

праздникам. Сел с календарем, полистал листочки и даже присвистнул: сколько их напридумывали в советское время: пей – не хочу! Тут тебе и 1 Мая, и 7 Ноября, и День Победы, 8 Марта, 23 февраля, день Конституции, Новый Год. Но это только большие праздники, которые и в детском саду принято отмечать, но ведь есть еще и более скромные, а все же праздники. Например, День печати, День Парижской Коммуны, День шахтера, День Пожилого человека и... Больше 20 штук набралось. У этих масштаб, конечно, не тот, что у Нового года, но как повод к выпивке и они годились. Хорошо, что Зинка у него оказалась «чистым продуктом советской эпохи», а попросту, значит «совком». Ведь в славные застойные (а Федя любил называть их «застольными») времена по любому поводу полагалось рюмочку опрокинуть, поздравить друг друга, а то и расцеловаться всласть, как это делал наш «многоуважаемый» генсек. С поцелуйчиками-то Федя давно уже разобрался, еще до свадьбы, а все остальное стал потихоньку внедрять в свой быт...

Зинка, видимо, насмотревшись на отца с матерью в детстве, усвоила, что в праздничные дни нужно покупать бутылочку, чтобы вечером уважить своего суженого. Были у них такие маленькие хрустальные рюмочки, граммов на 30 (еще на свадьбу подарили им!) – вот из них они и пили с Федей. Зинке нравилось: «Как барепьем из хрусталя!...». Федя долго не мог терпеть такого безобразия: не кот же он, чтобы лакать из такой мелкой посуды. Вмиг «приговорил» их, даром, что хрустальные. На новые денег нет, и поэтому купил он в магазине стаканчики граненые емкостью 100 граммов. И вроде хочет налить ему Зинка 50 граммов (по академику!), да дрогнет, порой, рука, и упадут в стаканчик драгоценные лишние капли. Хорошо! А если за обедом или ужином что-то приятное вспомнит, то и повторно может обслужить стаканчик мужа. Зинка-то, она ведь не жадная, за что и любил ее Федя. А тут как-то на День пожилого человека после второй стопки Федя нечаянно руками, как крылами, взмахнул: мне, мол, водка «мужчинскую силу» добавляет– и так хитро посмотрел на жену и шторку на окне откинул, а там темно, ночь на дворе... Ох, Зинка – башковитая баба, враз смикитила, какую пользу может поиметь, и хрясь ему остатки водки в стаканчик, по самые края: вроде как, для пущего азарту. Федя кобениться не стал, выпил и ...все. То ли организм его ослаб без постоянных тренировок, то ли магнитные бури в эту ночь на солнце свирепствовали, только он в постели

одну пассивность выказал – спал как убитый, и никакие Зинкины ухищрения его не встрепенули. Получив такой горький сексуальный урок, Зинка вернулась к прежним ста граммам. А Федя? ...А Федя стал дальше разрабатывать свою стратегию.

- 4 -

И забрела в его рыжую голову редкая, а оттого еще более ценная мысль: ведь кроме официальных государственных праздников существуют и церковные, религиозные. Это в советские времена, Пасху втихушку праздновали и крашеные яйца ели под одеялом. Сейчас-то все по-иному: хочешь – крестись в церкви, хочешь – яйца крась! Демократия – одно слово! Федя давно заметил, что Зинка никогда не была твердой атеисткой, нет-нет, а вспомнит Бога да лоб перекрестит. А тут родное правительство, словно желая потрафить Феде и таким же как он «эпикурейцам», стало один за другим религиозные праздники объявлять выходными днями, а его министры стали по церквам ходить, да лоб крестить на виду у всего народа. Умный-то сразу бы догадался, что это ошибочная политика: чем хуже живем, тем больше отдыхаем. Ну, так это умный, а причем здесь наше-то правительство? Вот и получается, как начинаем встречать Новый год с 30 декабря, так и гудим не просыхая до 14 января, пока не отметим «старый Новый год». Пьем, не просыхая: крещение, святки, Рождество и т.п. Вон немцы после войны или китайцы после «культурной революции», когда поняли, что для того, чтобы хорошо жить, надо рогом упереться, поработать. Уперлись, поработали, так и живут сейчас по-человечьи, а тут?

Ну, как вы уже поняли, так рассуждать мог только умный человек, но Федя-то здесь причем? Он просто радовался каждому выходному дню, хотя, казалось бы, чего особо радоваться неработающему пенсионеру? За Зинку, видно, радовался. Снова взялся Федя за карандаш, чтобы сбить в кучку и подсчитать все религиозные праздники. Долго пыхтел и потел, пока, наконец, не уразумел, что не совладает с ними – теоретической базы не хватает. Решил он тогда нанести визит в церковь. Жене сказал, что хочет матери поставить свечку за упокой души. Не зная цен на церковные атрибуты, выдала ему Зинаида сто рублей. На эти деньги Федя и свечку поставил, и календарь церковный купил, и крестик недорогой присмотрел, да еще и на «мерзавчик» хватило.

Довольный вернулся, но главное понял, что стоит он на верном пути: уважает Зинка религию, не жметяся с расходами! Почитал брошюрки, вспомнил, как старушки лоб крестили в церкви, сам потренировался, и давай после того сам в разговор вставлять то одного святого, то другого, а то лоб перекрестит перед рисованным образом, что там же в церкви купил. Крестик не снимал даже в бане. Заметил как – то во время любовных утех с женой, как тот елозил по ее лицу, и тут же, не прекращая своего основного занятия, прошептал ей на ухо:

– Зин, а ведь это благодать божья на тебя исходит от крестика-то, осязаешь ли?

А Зинка уже глаза закатила, готовая вот-вот разразиться сладостным стоном. И как все-таки Федя ловко все это устроил: крестик, благодать божья, оргазм – так, видно, у Зинки в сознании все и слилось воедино. И вот она уже крестик себе купила и тоже стала размашисто крестить лоб. Что ж, в веру свою жену он быстро обратил, но как приучить праздновать религиозные праздники? Долго думал, но ничего умного в его рыжую голову не залетало, и тогда он снова собрался в церковь... Полдня там околачивался, лоб крестил, слушал да наблюдал, и нашел- таки нужное решение...

«Хлеб – плоть божья, вино – кровь его праведная»...Видел Федя, как батюшка детей кагором потчует при крещении... Дома на родительский день только вспомнил об этом, как Зинка уже достает бутылку «Кагора» и наливает мужу. Как водится, помянули своих родителей, пригубили вино и...крякнул Федя с досады: ни святости тебе, ни радости – одна сладость на губах от кагора. И тут он снова тихонько подъехал к своей благоверной:

– А знаешь, Зинуль, давай уж ты кровь Господню изопьешь, а уж я его слезы осушу... А они у него были горькие-горькие, чисто водка... ведь сколько лишений взял он на себя из-за нас грешников!...

На том и сошлись: она отпивала «кагорчик», а он – беленькую, «Губернаторскую»– каждый из своей бутылочки.

Так, благодаря тонкому расчету Федора вместе с официальными, государственными праздниками, стали в их семье праздновать все церковные праздники: Пасху, Ильин день, Спас на крови, Крещение, Троицу, Вербное воскресенье и др. Это что касается стабильных,

постоянных праздников, которые приходят ежегодно помимо твоего желания, но ведь есть другие «нечаянные радости», как-то: свадьба, день рождения, поминки, наконец... Конечно, радости тут никакой – беда одна, да беда такая, что и здесь без застолья не обойтись. Худо ли бедно, а жизнь Федора в плане алкоголя стала налаживаться. И хоть не стал он жить лучше, а все же веселее...

КОМПЛЕКС ПОДМАСТЕРЬЯ

Повесть

«...не славы жажду, но признанья...»

В. Федоров

1

В третий раз я откладываю свою командировку в Малиновск. Знаю, что все равно придется ехать, но... откладываю. Сказать, что я

чересчур загружен? Нет, нагрузка обычная для собственного корреспондента центральной газеты: письма, жалобы, материалы о ЧП регионального масштаба да нечастые задания редакции, подобные тому, что сейчас заставляет меня ехать в этот забытый богом Малиновск.

«О развитии среднего бизнеса в регионе» – так называется тема моего задания. Тема большая, серьезная, поскольку мелкий бизнес мы почти задавили налогами, а крупный бизнес неудержимо вывозит свои капиталы за границу, и потому нам остается только изучать причины живучести среднего бизнеса. Вот это-то и поручила мне далекая, но любимая московская редакция! Осталась неделя! Завтра еду в этот несчастный Малиновск только для того, чтобы выяснить, почему еще не развалилась фирма «Альтаир». Полдня – туда, сутки – там, полдня – обратно. На работу остается пять дней – нормально! Как человек ленивый и склонный к философствованию, я не люблю суеты, авралов, прочих пожарных мероприятий и сейчас с ужасом вспоминаю пять лет работы в городской газетке, где все материалы шли в набор из-под пера, и каждый день надо было куда-то мчаться, с кем-то встречаться, что-то писать. Уж и не верится, что это был я... Потом была областная газета, и затем уже то, что имеем сейчас...

... В этот день я был относительно свободен и после обеда фланировал по улицам родного города. Человек любопытный – кстати, не самое плохое качество для журналиста – я поначалу удивился, но потом заинтересовался, что на тихой, зеленой и обычно малолюдной площади Пушкина толпился народ. Приблизившись, я понял причину этого столпотворения: местный музей изобразительного искусства организовал здесь передвижную выставку картин. Дела! Ну, чем не Монмартр, на худой конец – Арбат!? Сделав умное лицо (на жару, надо сказать, я слегка расслабился, что явно снизило мой интеллектуальный вид), я слился с толпой зевак и эстетов...

...Провинциальный Арбат, оказался, увы, разномастен, убог и изрядно безвкусен: пейзажи акварелью, маслом, десяток графических рисунков да неудачные копии с известных картин. Около них прохаживались две женщины позднего бальзаковского возраста и по очереди разглагольствовали перед посетителями, забредшими на этот стихийный вернисаж, повествуя о композиции,

сюжете и художественной манере представленных на выставке авторов, но, поскольку все звучавшие фамилии были давно известны местным эстетам, сказать что-либо новое о них уличным искусствоведам было делом нелегким.

Рядом с картинами пристроился наперсточник, и периодически просил женщин говорить потише и не мешать его клиентам... Чуть поодаль присели три старушки, торгующие цветами, а дальше – старик с орденскими планками на груди бойко зазывал горожан «узнать свой авторитет», и приглашал встать на весы... Здесь же пожилая мороженщица предлагала мороженое Быстро утолив свое любопытство и не обнаружив ничего заслуживающего внимания, я уже собирался идти восвояси, как вдруг услышал новую для себя фамилию – Шелехов! Ни картин Шелехова, ни гида мне видно не было – их закрывала от меня немногочисленная толпа. Я зашел с другой стороны: на невысокой подставке стояло небольшое полотно, выполненное маслом – «Пробуждение». Урбанистическая картинка ночного города, мрачные контуры строений и деревьев, серо-голубой небосклон с клочками слегка подрумяненных снизу облаков, и возникающий из-за горизонта, словно из ниоткуда, луч восходящего солнца. Самого светила еще нет, но этот луч – предвестник его появления и посланец нового дня, словно мечом рассекает царство тьмы. Цветовая тональность, в которой была исполнена эта картина, заставляла вспоминать лучшие полотна Куинджи...

...Уже около получаса я вглядывался в полотно, пытаюсь осмыслить ощущения, вызванные у меня этой картиной: пронзительно контрастная гамма – тьма и свет, умирающая ночь и нарождающийся день, и здесь, на стыке двух начал, двух антиподов, словно памятники цивилизации стоят городские строения, деревья... Поймал себя на мысли, что лучшим названием для картины могло бы стать добродлюбовское – «луч света в темном царстве...». М-да, но автор дал этому маленькому шедевру другое имя...Дождавшись, когда жиденькая толпа схлынула, я подошел к женщине-искусствоведу.

– Извините, возможно, я прослушал, но мне не понятно, кто этот Шелехов? Откуда он? Есть ли у него еще картины?

Женщина в ответ грустно улыбнулась и сказала:

– Нет, вы не прослушали, потому что я ничего об этом не говорила... А картина эта действительно здесь самая интересная...Вы, видимо, тоже, глядя на нее, вспомнили Добролюбова, его «Луч...» А если внимательно всмотреться в нее издалека, то представляется некая библейская картина – «Перст божий»... Обратите внимание: внизу – мир, погрязший во тьме и невежестве, а свыше...

– Да, да, спасибо, именно так я и понял сюжет картины, – несколько бесцеремонно прервал я отработанный поток речи искусствоведа, – но скажите, что он еще написал? Где он живет и работает?

Женщина, казалось, была обескуражена тем, что я не дал ей завершить упоенный монолог, но после короткой паузы и уже другим тоном ответила:

– ...На обратной стороне холста указано место, где создавалось это полотно: Малиновск... стоит дата, а судьба автора трагична и неясна. По одним сведениям, он погиб ..., по другим – будто бы сам убил кого-то...У нас в музее было четыре картины этого автора: две купил какой-то иностранец в первый же день выставки-аукциона, две другие получили повреждения в запасниках... У нас в музее крыша течет...Вот эту картину удалось подреставрировать, а вторая, увы, погибла...

Понизив голос до шепота и, наклонившись ко мне, дама добавила:

– Вы знаете, а те картины были лучше этой...значительнее, что ли... Где-то они сейчас? А иностранец тот, как и вы, тоже интересовался судьбой художника: спрашивал, где живет, работает... Но в департаменте культуры нам строго-настрого запретили говорить об этом...Такая судьба!.. Если сам погиб – одно, а если он убийца?... – Она испуганно посмотрела по сторонам, и уже совсем шепотом сообщила мне архиважную весть, – когда узнали, что картины ушли за границу, директора нашего чуть не сняли, а остальные картины велели спрятать в запасники, вот там-то их дождик и достал...

– А почему вы сказали, что картина называется «Перст Божий», хотя здесь написано «Пробуждение»?

– Вы знаете, когда картина попала к нам в музей, то на оборотной стороне было написано «Перст Божий»..., но Клавдия Ивановна, из

департамента культуры, сказала, что у нас светское государство и не должно быть никакой химеры! И вот так появилось «Пробуждение»... Вы бы знали нашу Клавдию Ивановну...

Я знал эту Клавдию Ивановну, к сожалению... Местные эстеты помнят, как она, будучи еще инструктором райкома комсомола, во времена оные активно поддержала «тракторный наезд» Никиты Хрущева на выставку абстракционистов: большая, страстная ее статья появилась тогда в местной областной газете... Заметили, выдвинули... Сколько же лет прошло с тех пор, а так все и держится на плаву «культурная бабушка»... Кремень, а не женщина: ей, что оттепель, что застой, что перестройка ... В театре жизни декорации сменились, но действующие лица, похоже, остались прежние!...

Я попросил назвать цену картины, чем немало озадачил бедную женщину. Справившись с замешательством, она пояснила, что картину можно купить только в музее: там есть преискуранты цен, бухгалтер и эксперт, и только там мне смогут оформить все необходимые документы на продажу. Убедившись, что картина пока мне недоступна, я передал женщине свою визитную карточку и попросил уведомить директора музея, что я непременно ее куплю через восемь-десять дней, и пошутил на прощанье:

– За меня вас не будут ругать: я – не иностранец...

Женщина растерянно молчала, не зная как реагировать на мою шутку...

– Шелехов...Шелехов...– эта фамилия не оставляла меня все то время,

что я разговаривал с женщиной: я был уверен, что я встречал ее и совсем недавно, но где, где?... И вдруг вспомнил! Недели две-три назад я, не изменяя своим снобистским привычкам, читал газету «Таймс», естественно, на английском языке... И там-то мне попала на глаза небольшая информация о прошедшем в Лондоне аукционе, где были проданы несколько картин русских художников... Цены назывались весьма приличные, при том, что авторы были не классики, а современные художники, и один из названных там художников был именно Шелехов, в этом я был абсолютно уверен...

... Удалившись на некоторое расстояние от выставки, я обернулся на картину: «Перст Божий» разрезал тьму полотна, словно указывая мне дорогу на Малиновск...

2

Все интересующие меня вопросы в «Альтаире» я решил быстро. Фирмачи хорошо подготовились к встрече с корреспондентом центральной газеты, да и сам корреспондент не подкачал. В общем, мы остались довольны друг другом... В местной редакции «Путь Ильича», куда я вернулся из «Альтаира», все сотрудники разбежались на обед, а я пошел прямо к редактору... Им оказался Сивцов Владимир Николаевич, плотный и потливый человек небольшого роста, с солидной лысиной, хороший журналист и добрейший человек. По давно заведенной привычке он обедал в кабинете, закусывая пирожками и кренделями, что подкладывала в портфель его заботливая жена. Он-то и принялся меня угощать кофе с жениными постряпушками, успевая между глотками интересоваться моими успехами в фирме и раскуривать толстенную сигару. Но, поняв, что в детали своего визита в «Альтаир» я посвящать его не собираюсь, и для его газеты никакого материала не будет, он, казалось, приуныл, и никак не мог найти подходящую тему для разговора. Кофе в наших пол-литровых кружках оставалось еще много, выпечка в вазе висилась горой, и мы продолжали ее уничтожать уже молча. Расправившись с печеньем и крендельками, в полной тишине мы принялись раскуривать: я – сигарету, а Сивцов – окурочек своей пижонской сигары. Пауза, меж тем, затянулась до неприличия. Я нарушил ее, чем немало выручил хозяина кабинета.

– Шелехов... Знакома тебе эта фамилия? Кто он? Где он?

Сивцов поперхнулся дымом и надолго закашлялся.

– Ты... Откуда вы взяли эту фамилию? Это работник «Альтаира»?

– Владимир Николаевич, – мягко остановил его я, – не темни! Кое-что я уже разнюхал: это художник, ваш земляк, и ты это прекрасно знаешь. Возле этого имени много тумана, но с твоей помощью я надеюсь во всем разобраться... И потом, давай на «ты», а то вечером водку в гостинице пить не будем!...

Затянувшись несколько раз сигарой, Сивцов, как мне показалось, немного успокоился и приступил к рассказу.

– Шелехов Василий Семенович действительно родился в Малиновске лет сорок назад. Окончил здесь школу, учился в художественном училище, там, у вас, кстати, в губернии, потом в Москву уехал... По слухам, учился в Строгановском, работал в одном московском театре художником-оформителем... Доходили вести, что он произвел фурор в театральном бомонде, знаменитые режиссеры наперебой стали его приглашать на свои постановки, а потом случился какой-то большой скандал... Появился у нас на короткое время, много пил, мало рисовал, почти ни с кем не общался... Писал маслом, увлекался графикой... творил что-то в стиле Нади Рушевой, помнишь такую девочку? Талантище! Все про Пушкина рисовала – жаль, умерла рано... Ну, а Шелехов все на Лермонтова налегал да на эротику: Бунин, Набоков, де Сад...

Все это Сивцов выпалил на одном дыхании, даже вспотел... Сделав паузу, он пыхнул сигарой, крупно хлебнул остывший кофе и продолжил.

– Наши художники не ахти какие, а все же кучкуются, или, как сейчас принято говорить – тусуются. Он же на тусовках появлялся редко, да и то в изрядном подпитии... Как-то поскандалил с одним из местных чинушей от культуры, и его просто не стали приглашать на официальные мероприятия... Рисунки же его я случайно увидел у одного своего знакомого... – заметив, как я дернулся всем телом, он добавил, как мне показалось, с некоторым ехидством, – ...ан, нету знакомого, в Израиле он уже!... Мы стали готовить подборку о Шелехове, даже клише нарезали, а он вдруг исчез... Материал пропал... Не совсем, конечно... лежит где-то в архиве... а вскоре узнаем: прибыл по этапу к нам на зону за убийство! Тут уж полный мрак!

– Эх вы, журналисты хреновы! Колония под боком, а вы не могли раскопать такой материал! Сейчас же гласность и перестройка! Теперь даже горкомы и райкомы тебе улыбаются, когда ты их критикуешь...

– Это у вас может быть так или в Москве, а у нас секретарь по идеологии так рыкнет, что шерсть дыбом встает!... – он пригладил ладошкой свою потную лысину и закончил уже примирительно, – –

Да что ты так заволновался? Ну, рисовал мужик, ну, сел «по дурочке» – так ведь сам же виноват! « Не убий!» завещал нам Творец, а он?...

– А ты знаешь обстоятельства дела?

– Нет...

– И я нет,– я стоял рядом со столом, за которым, обнимая свою кружищу с остатками кофе, сидел редактор, но поскольку свой взгляд он сосредоточил на ней, то все мои колючие слова сыпались на его вспотевшую, от кофе ли, от разговора ли, лысину,– поэтому не берусь судить его, а ты, похоже крест на нем поставил? Да не верю я, что такой человек мог просто так вот убить другого человека, не верю!

– Ага,– косо ухмыльнулся Сивцов,– «гений и злодейство – две вещи несовместные...». Так, кажется, товарищ Пушкин говорил?...

– Так, именно, так, но...

– Во-первых, я верю судебному приговору...– перебил меня редактор,– ведь не по путевке он приехал сюда, а по приговору! И потом, почему для тебя он сразу гений? Да, что-то он там в Москве сотворил – похвалили, писали, даже здесь разговоры разные слышал, но на то они и разговоры, чтобы их слушать и забыть...

– ...Его картины в Лондоне на выставке продавались, и цену за них давали побольше, чем за иных художников – передвижников, понял?

– Откуда информация?– встrepенулся Сивцов, – не слышал я об этом, не читал!...– он вскочил со своего места и, не оставляя кружку и разбрызгивая кофе, подхватил свободной рукой кипу местных газет – наша пресса молчит о данном факте...

– Слушай, Сивцов, ты что, кроме своей...(как мне хотелось назвать его газету «паршивой газеткой», но усилием воли я заставил себя остановиться) ...кроме своей газеты что-нибудь читаешь?

– А как же!– областную газету, «Комсомолку», «Труд»...

– Ладно, командир, успокойся, это было написано в лондонской «Таймс»...да еще на английском языке...

– Как, как?– Сивцов обалдело смотрел на меня,– Сергей Иванович, ну, ты что в натуре... «Таймс» да еще на английском?... Откуда эта

газета в Малиновске?! Она и у вас-то городе в одном-двух экземплярах!...Здесь же у нас деревня, понимаешь, де-ре-вня!...

– Ладно, ладно, Николаич, увлекся, забылся, виноват!..– Я поспешил замять это недоразумение: действительно, откуда в Малиновске «Таймс», если «Труд» и «Комсомолка» добираются сюда только на вторые сутки после выхода?! Портить же отношения с редактором не входило в мои планы, и поэтому я решил сменить тему разговора, а для начала закурил... Сивцов понял мой маневр, и, похоже, был готов идти мне навстречу, но от одного вопроса он все же не удержался:

– На английском «Таймс»-то, так что ли ?

– Да...

– И ты по-аглицки можешь?...

– ...По слогам и вслух,– отшутился я.

– Ну, если «по слогам, да вслух...»– ты бы ее не выписывал из самой-то Англии!... Денег стоит, поди?

– Поди - не поди, не в том дело! У тебя под носом, может быть второй Ренуар, Дюрер или... Кукрыниксы живет, а ты?...

– А что я? Кукрыниксы!? Ренуар!?..., – обиженно засопел Сивцов.

– Посылал я туда своего стажера, Толика Першина, из университета присылали, не знаешь такого?

Я отрицательно покачал головой.

– Молодой он еще, но когда подрастет – узнаешь! И пацан, вроде, шустрый, а на поверку балабоном оказался. Ему надо было два-три материала сделать, а я пообещал: сделай один материал об этом художнике – отпущу с богом и хорошей аттестацией... Поехал он в колонию... она тут недалеко, на 11-м километре, в Таежном...Что уж там у них было – не знаю, да только вернулся этот Толик с фингалом под глазом, а того художника, как я потом узнал, в карцер засадили! На том все и закончилось...Сколько ни пытал я Толика – он одно твердил: «козел он, этот ваш Шелехов, дерьмо на палочке!..». Самому мне этим заниматься некогда, а кого послать? У меня же не редакция, а дом престарелых – «мое Политбюро»! Ведь они боятся зэков больше, чем...чем ...террористов да еще Толик тут настращал перед отъездом... В общем, сняли мы этот вопрос с

повестки, да и местное руководство мне не рекомендовало раскручивать эту тему: убийца – на щит?! Кошмар! Не моги! Вот так-то, мой юный друг!

Похоже, Сивцов, пока произносил свою тираду, так переволновался, что записал меня в юнцы, хотя мы с ним были одного возраста... Ладно, побуду его «юным другом»: для дела надо – переморщимся!...

– Ну, а сам-то ты видел его картины или только слушал басни этого раздолбая Толика?

Редактор снова потер свою лысину, раскурил сигару, затем встал и отдернул портьеру... От неожиданности я вздрогнул: в простенке между окнами висела картина по размерам совпадающая, один к одному, с оконной рамой. Собственно, первое, что пришло мне в голову, когда я ее увидел, что мне открыли небольшое зарешеченное окошко с видом на внутренний двор тюрьмы. За квадратиками решетки на втором плане виднелись темно-серые фигурки людей, а поверх окружающей их стены – тонкая спираль колючей проволоки – «Егоза»... Но главным в картине был третий план – бездонная, безоблачная синь неба с парящими в ней птицами. На какой-то миг я застыл перед ней, забыв про своего собеседника. Другая тема, но тот же принцип контрастного изображения: черная решетка, серый двор и пронзительно голубое небо... Они словно дополняли друг друга, одновременно контрастируя на всех участках полотна. «...Только синь сосет глаза...»- вспомнилась мне есенинская строка. Да, именно такая синь, как у Шелехова, сосет глаза и пронизывает насквозь...

Из раздумья меня вывел голос Сивцова. Он, видимо, все это время что-то говорил, но я услышал лишь последние его слова;

– ...Только вот название какое-то странное – «Каждому свое»... По мне уж лучше так: «Сижу за решеткой в темнице сырой...»

– Может быть, ты и прав...да только он поглубже пашет: каждому свое! Одному – пяточок за решеткой да небо в клетку, другому – кусок двора за колючей проволокой, а третьему...третьему – все небо в подарок!...Философия, Владимир Николаевич! Тут, брат, не тюрьма, а сама жизнь на полотне – метафора!..

Сивцов неопределенно пожал плечами, словно соглашаясь со мной, еще раз кинул взгляд на картину и, словно извиняясь, добавил:

– Работы знаешь сколько?! Текучка... Все на лету, все на бегу... Вот компьютер новый никак не можем купить – нет денег. Обещали недавно в райкоме...

Мне стало жаль этого задерганного работой и прикормленного местной партийной властью редактора. Может быть и писать-то о Шелехове он не стал, чтобы получить, наконец, этот несчастный компьютер: ведь советовали же ему не обсуждать тему про художника-убийца... Не стало цензуры, появились другие рычаги – экономические. Выбирай: либо берешь под козырек – «чего изволите!», либо выплывай, как можешь! Щадя самолюбие Сивцова, я изобразил на своем лице улыбку и, хлопнув его по плечу, нарочито весело сказал:

– А захвати-ка вечерком, когда пойдешь ко мне в гостиницу на рюмку чая, все материалы по Шелехову, да только не скупись – все подними, и вот что еще... – я сделал паузу, пытливо поглядывая на него. – Ты же знаешь начальника колонии, где сидит Шелехов? Позвони ему прямо сейчас, скажи что-нибудь хорошее, теплое обо мне ... В общем, организуй мне встречу с этим художником...

– Э-э...

– Нет, только сегодня, сейчас! Ты что же думаешь, я каждую неделю сюда могу ездить?!...Давай, давай!... – и я с новой силой принялся тормозить своего раздумчивого и медлительного собеседника.

–...Знаю ли я начальника? Конечно, знаю! Виталий Сергеевич, славный мужик...Шашлык с ним ели, водку пили, когда я материал готовил о его колонии... Тогда эту картину он мне и подарил, а я ему еще помог связаться с музеем, куда потом он картины этого Шелехова отправил, но, честно говоря, деталей этой операции я не знаю...

– Все ясно, дорогой, звони!...

3

Начальник колонии Баранов Виталий Евгеньевич был до боли похож на редактора Сивцова, только лысина у него была поменьше, а живот побольше, да на погонах тускло блестели подполковничьи звезды.

– Значит к нам в гости? Это хорошо, гостям мы всегда рады. Вот бы вы написали о скромных служащих пенитенциарной системы, так нет, вам интереснее эти душегубцы... А ведь мы вместе с ними свой срок отматываем... Ничего не нарушили, никакого греха на душу не взяли, а все одно в этих стенах томимся вместе со своими подопечными, но разве это справедливо?...

Это маленькое вступление Баранов, видимо, готовил несколько дней и всю ночь тренировался произносить без запинки фразу «пенитенциарная система»... Что ж, не сбился, и то хорошо. Мне почему-то сразу не понравился этот человек: какой-то он неестественный (как пыжится показать себя рубахой-парнем!) и, похоже, чванливый вид (ишь, как губу-то оттопырил пренебрежительно!). Кроме того он должен быть трусоватым человеком – обычно эти черты характера уживаются по соседству... Впрочем, похоже, я ему тоже не приглянулся, но мирится: человек из центра, да еще журналюга! Однако, следуя своему давнему журналистскому принципу: не раздражать собеседника, а «обаяивать»... нет, слово нехорошее, наверное, лучше «обаивать»... Тоже ерунда! Короче, настраивать его на нужную волну, чуть-чуть «влюбить» в себя, иначе потом из него слова не вытянешь, и потому я произнес ответную тираду:

– Многоуважаемый Виталий Евгеньевич! Я премного наслышан о вас лично и вашем славном коллективе! Искренне сочувствую, что лучшие годы своей жизни вы проводите «...вдали от шума городского...», за этими гнусными решетками и в обществе изгоев, но я уверен, что настанет тот счастливый момент, когда в нашей газете пойдет цикл материалов о пенитенциарной системе в свете грядущего ее перевода из МВД в Минюст, и уж тогда вы, непременно, станете главным героем моих материалов. А уж тогда вы просто будете обязаны, рассказать о себе все подробно: семья, дети, работа, даже о любовнице можно...

Слушая мою выпренную речь, Баранов, похоже, принял ее за чистую монету и, кажется, был готов начать рассказ о своем трудном детстве..., но здесь я сделал крутой вираж в монологе и продолжил совсем в другом ключе:

–...Но сегодня я хотел бы поговорить с вами именно о душегубцах, как вы их называете, и прежде всего – о Василии Шелехове. Почему

он здесь? Какой у него срок? Чем он занимается? Что он за человек?

Я давно заметил, что люди с интеллектом попроще, если им задать кряду два-три вопроса, всегда начинают отвечать с последнего, потому, что первые они тут же забывают, и им приходится их напоминать. Случай с Барановым лишний раз подтвердил верность моих наблюдений.

– Человек? Кто, Шелехов?! Ах, да, конечно...– он был явно удручен вопросом, но потом, словно решившись, заявил, – а хер его знает, какой он человек! У меня их здесь восемьсот мудаков, и что я должен каждого знать?

Видимо, огорченный невниманием к своей персоне, подполковник решил говорить со мной на «фене», а я страсть, как не люблю этот «низкий штиль». Нет, я, конечно, не эстетствующий мальчик и при случае сам могу загнуть, но чтобы вот так все засорять наш «великий и могучий»– увольте! Также мне не хотелось сейчас уговаривать этого лысого тюремщика «не выражаться», уподобляясь экзальтированной дамочке, густо краснеющей при слове «задница»... Я использовал один из своих старых журналистских приколов: сунул руку во внутренний карман ветровки, где у меня всегда находилась импортная авторучка, и щелкнул ее кнопкой. Щелчок получился громкий, и начальник, услышав его, насторожился.

– Ничего, ничего, Виталий Евгеньевич,– успокоил я его,– это мой репортерский диктофон...Мы, журналисты, народ ленивый... Нет, раньше мы все записывали, как говорится, «брали на карандаш», но топерича не то, что давеча... Мы тут с вами поболтаем, а он пусть поработает, а потом в редакции я послушаю и разберусь, что к чему...

Похоже, сработало: Баранов откашлялся, внутренне собрался, говорить стал отрывисто, четко. «Теперь уж матов точно не будет»,– усмехнулся я про себя.

– Значит так, Шелехов Василий Семенович, сорок лет, русский, не женат, не был... не привлекался...В смысле, не был за границей, ранее к уголовной ответственности не привлекался...Первая ходка, значит...Уф!– тут он сделал паузу и, указав глазами на карман, поинтересовался полусшепотом:

– А там хорошо запишется?

– Нормально...Япония же...

– А, ну тогда ладно...На чем это я ...Ах, да... Осужден Новосибирским областным судом за убийство сроком на восемь лет...Сидит уже около трех лет, если точнее, то два года и десять месяцев...

– Виталий Евгеньевич, мой комплимент вам: у вас тут их восемьсот...э-э,

скажем так, гавриков, и вы все знаете о каждом, как о Шелехове... прекрасная осведомленность!...

– Да уж, так...– несколько смутился начальник, но уже следующей своей фразой он сам себя и развенчал:

– Тут Владимир Николаевич позвонил, так я и полистал личное дело Шелехова...

– А-а, ну, тогда понятно...И что же еще?

– А что еще надо? Ни с кем не корешится – сам по себе! К «мастям» не липнет, «травкой» не балуется, «колеса» не глотает...

– А что, другие балуются и «травкой», и «колесами»? А как же они их получают? Ведь стены кругом, решетки, охрана?

Поняв, что он проговорился, Баранов сморщился, как от зубной боли:

– А-а, гов... в смысле, дерьма везде хватает! У нас тоже есть такие... Боремся, конечно, но разве за всеми уследишь...

– Ну, хорошо, Виталий Евгеньевич, откуда же Шелехов к вам приехал?

– Да не приехал, а был этапирован к месту отбытия наказания, из Новосибирска...

– Ага...Он что, у вас здесь тапочки шьет или сети вяжет? Вы же знаете, что он художник, и хороший художник!..

– Прежде всего, он – преступник! И здесь он не для того, чтобы картинку рисовать, а отбывает наказание...– сказал он это довольно резко и неожиданно для меня, отчего я невольно проникся уважением к нему: есть все же в этом человеке кременек! – Живет как все, и спит не на нарах деревянных, а на обыкновенной

железной кровати... Но ему разрешено свыше (он поднял палец вверх и сделал загадочную мину) ...рисовать. У него есть бумага, холсты, краски, кисти... Он тут клуб нам оформил, столовую, газеты рисует, стенные, я имею ввиду... Вроде устарело, но мы привыкли – людям нравится, вот и рисуем...И вообще: пресса – это сила!

Ну, это уж он мне леца бросил – дипломат, однако!..

Слушая разговорившегося подполковника, я обратил внимание, что на стене, за его спиной, где обычно висят портреты генсеков и президентов, висит портрет ... его самого любимого! Он был изображен молодежью, в знаменитой позе Сталина с трубкой за столом и читающим газету...Силен, Баранов! Я окинул взглядом стол – трубка здесь и не ночевала, зато на самом видном месте лежала мятая пачка сигарет «Бонд».

– Это его работа?– кивнул я на портрет.

– Да-а ...–смутился начальник,– знаете, шутка гения...баловство...

– Так он все-таки гений?

– Ну-у, гений-не гений, но не без способностей...Так, к слову пришлось...

Подсмотрел как-то меня вот тут да нарисовал... Он молодец, целую галерею портретов написал: так сказать, лучшие люди колонии! Он и замполита рисовал, и «кума», и Паленого...

– А это что за должность такая или, может, фамилия?

– Да нет, не фамилия – «погоняло», в смысле кличка, прозвище... такое. Сидит тут у нас один «авторитет», «смотрящий» от «братвы» – крутой мужик, скажу я вам... Вот и уважили его...

– Значит он тоже «лучший людь колонии»?

– Ну, как сказать...Первый среди худших...– В мгновение ока «ременек» растаял, как парафиновая свеча, и я снова слышал жалкий лепет ребенка, облаченного в военную форму. Мне стало понятно, что никто сверху не разрешал Шелехову рисовать, а все решил на месте этот подполковник: должны же замполит, «кум» и «Паленый» где-то ему позировать, не в камере же или коридоре...

– ...Только тут маленькие неточности вкрались,– продолжал журчать с виноватыми нотками голос тюремщика,– ну, там

трубка...фигура...Стервец, подмолодил меня, сделал стройным... Но все равно, говорят, здорово на меня похож, не находите?

Я молча кивнул, продолжая изучать портрет, и только тут заметил, что на погонах военного, изображенного на полотне, вместо двух звезд нарисованы три...

– Одно лицо, товарищ полковник! Солидный портрет! Тут и Кипренский не ночевал!...

– Кто, кто, вы говорите, Кипренский? Нет, такой у нас не содержится...

А что полковник – так это неточность авторская...

– Это не неточность, не ошибка, а портрет на вырост: вы же все равно когда-нибудь станете полковником и вот, чтобы второй раз не позировать, не тратить ваше драгоценное время...Да-а, или, все же, это шутка гения? Ох, и шутники вы здесь все! Вот только президент не обидится, что вы его место заняли? Контрреволюцию не пришьют?

– Ну, Сергей Иванович, и шутник вы, однако!..Ценю! А президент свой кабинет на мой никогда не променяет, да и долго ли перевернуть на другую сторону портретик-то, а там – наш президент уважаемый...

Он подошел к портрету, снял с гвоздика и показал его изнанку: там действительно был изображен президент в строгом партикулярном одеянии и той меткой на лице, которая выгодно отличала его от любого другого президента ... Разговор с Барановым складывался нескучно, но, ограниченный во времени, я поспешил его закончить, и широко, по-наглому, зевнул, а потом попросил проводить к художнику...

4

Я скучал в одиночестве уже более получаса. Кабинет, где меня оставили для встречи с Шелеховым, находился на втором этаже здания и имел уныло-серый и довольно обшарпанный вид, как, впрочем, и все помещения, которые я успел увидеть здесь, за исключением, разве что, кабинета начальника колонии.

– Задерживаются, господа тюремщики, – размышлял я, начиная терять терпение.– Они, наверное, решили его побрить, отмыть и приодеть перед встречей с корреспондентом, а может, смокинг ищут...– при этой мысли я даже засмеялся. Впрочем, причина затянувшегося ожидания могла быть и в другом: я вспомнил прапорщика, что сопровождал меня по колонии. Небольшого роста, тучный, с тяжелой, изрядно косолапой поступью... «Этот не разбежится, даже если захочет – весовая категория не та, – усмехнулся я про себя. Уже, в колонии, я отметил одну особенность: здесь, как и в армии в годы моей срочной службы, все офицеры, были худые и стройные, а прапорщики и сержанты – сплошь крепыши под 120 кг, да начальник еще...Видно, рацион питания у них другой: недоедают, вот и пухнут с голоду...

Я закурил и подошел к зарешеченному окну. Из него открылся вид на унылый серый двор, где сновали такие же унылые и серые люди. Бессмысленное, на первый взгляд, их движение по двору становилось осмысленным и оправданным, если понаблюдать за ними какое-то время. Вот двое заключенных катят на тележке сварочный аппарат; а вот, согнувшись в три погибели, движется мужчина, взваливший на себя большой тюк с бельем, и путь его, наверное, лежит в прачечную. На лавочке у стены раскуривают сигарки три здоровяка. По тому, как они ведут себя: расслабленные позы, ехидные и наглые улыбки, окрики, густо приправленные матом – все говорило за то, что они из особой, привилегированной тюремной касты. Я попытался вспомнить, как их называют, кажется «масть» или «шерсть»...В общем, блатные. Да, кажется, так их называли в одной интересной книжке, что когда-то попалась мне на глаза – «Русская феня». Там много было интересного... Свой язык, свои законы, свой мир. Закрытый, жестокий мир, где у каждого свое место: за столом ли, на нарах ли – все распределено, все охраняется своим законом – «понятием»... Я продолжал знакомиться с тюремным ландшафтом: железобетонная стена, поверх которой в несколько рядов была натянута колючая проволока – «Егоза», прозванная так то ли зэками, то ли тюремщиками. Что ж, резонно: этот мир надо охранять, чтобы он не пускал свои щупальца на человеческую цивилизацию...

А поверх колючей проволоки синело летнее небо, слегка разбавленное белыми облаками... И вдруг я поймал себя на мысли,

что нечто подобное уже было в моей жизни, что я где-то это уже видел! Чертовщина какая-то! Дежа вю! Это по-французски, а по-нашему – сдвиг по фазе! Я ведь впервые в колонии, и такие пейзажи нигде видеть не мог, хотя...пейзажи... Вспомнил! Картина в кабинете редактора! Тот же двор, та же проволока, только вот склад, что я вижу отсюда, на картине был изображен под другим углом, а это значит, что мастерская Шелехова где-то рядом и так же на втором этаже, скорее всего, за углом этого здания... Да-а... а как же он назвал эту картину? «Каждому свое»... Но ведь и я сейчас произнес именно эту фразу...Что это: флюиды казенного дома или гениальное попадание художника при названии своей картины? Я хотел открыть окно, но это время в коридоре послышался звук шагов и раздалась крикливая команда: « Лицом – к стене! Стоять!». Затем раздался осторожный стук в дверь и появилась мясистая физиономия прапорщика – моего недавнего спутника в путешествии по колонии.

– Разрешите?

– Милый друг, я вас заждался,– начав фанфаронить еще в кабинете начальника, я никак не мог остановиться. Видимо в окружении этих упитанных, самодовольных и, одновременно, услужливо-подобострастных людей, я просто не мог себя вести иначе. Ну, не рыдать же мне от умиления при виде их нарочитой вежливости!

Едва ли не на цыпочках прапорщик подошел ко мне и заговорщически зашептал на ухо:

– Он парень психованный, будьте осторожны с ним,– его чуть косоватые глаза собрались в пучок возле шишковатого носа.

– Что вы говорите?...– подыгрывая ему, зашептал я.

– Да...Вы знаете, как он завалил своего кореша? Он его сбросил с крыши, как мешок с гов..., пардон, с какашками! Так-то, товарищ журналист...

– И как же это получилось?

– Элементарно! Он в Новосибирске жил где-то на чердаке... Знаете, у него и погоняло здесь – «Карлсон»... Ну, вот водку жрали они с тем корешком, да что-то не поделили, вот он его и спустил вниз без парашюта... – прапорщик, выдав мне эту информацию, ухмыльнулся, довольный своей шуткой. – Да бог с ним, с корешом,

его уж не вернешь, а вы не бойтесь: вот здесь, на стенке, кнопка вызова – жмите, если что... через минуту здесь будет охрана. Продержитесь только минуту...

– Спасибо, товарищ прапорщик, – ответил я нарочито бодро, а заметив, что дверь в коридор осталась приоткрытой, и, значит, мои слова могут быть услышаны этим таинственным и ужасным Шелеховым, добавил громко:

– У меня черный пояс по карате! Одну минуту я как-нибудь продержусь, но и вы уж не спите!...

Услышав мои слова, прапорщик слегка даже присел, оглянулся на дверь, и согласно закивал головой, что, видимо, означало: спать не буду.

... Он вошел в кабинет упругой звериной походкой, мягко ступая по бетонному полу. В его облике не было ничего особенного, но в то же время что-то настораживало и отталкивало. Это был мужчина, примерно, моего возраста, высокий, худощавый, но жилистый. Жизнь не раз доказывала, что мужики с такой конституцией гораздо сильнее и выносливее многих дутых «качков». Светло-русые волосы были коротко пострижены, волевой подбородок, туго обтянутые серой кожей скулы и щеки были порыты недельной щетиной.

– Не сподобился художник побриться перед встречей с журналистом,

– мысленно усмехнулся я, – не уважил...

... Его тонкие губы кривились в едва заметной усмешке, а синие, со льдинкой, глаза, покалывали меня, словно проверяя на прочность. И, хотя он был ниже меня ростом и уже в плечах, но я не чувствовал себя спокойным с ним наедине.

– Может быть этот прапорщик не зря волновался, – подумал я и, молча, указал гостю на стул, привинченный намертво к полу. Тот также, молча, кивнул и сел. На его плечи была накинута добротная импортная ветровка из замши, сам он был одет в спортивный костюм «Адидас», на ногах – кроссовки «Пума»...Пока я изучал своего будущего собеседника, тот непрерывно смотрел мне в глаза, и взгляд его был таким сильным, что выбивал меня из той роли, что я так успешно играл в колонии до сих пор. Дабы немного успокоиться и сосредоточиться на предстоящем разговоре, я

распечатал новую пачку «Мальборо» и предложил закурить своему визави. Продолжая меня буравить глазами, он мягко качнул головой в знак отказа, и достал из кармана куртки пачку «Парламента». Для тюрьмы это было круто! Я чиркнул зажигалкой, и хотя в руках у него была своя зажигалка, он нагнулся и прикурил от моего огонька.

– Уже легче, – подумал я, – маленький контакт есть... Поехали!...

Глубоко затянувшись, он сел поудобнее, закинул ногу на ногу и продолжал молчать...

5

Пауза затянулась. Как инициатор встречи, я должен начинать разговор, но я опоздал...

– Чем обязан? – холодно, но корректно спросил Шелехов. Я представился, предъявив ему свое журналистское удостоверение. Нет, я не ждал умиления и восторга от собеседника, но, черт возьми, какая-то реакция должна быть! Увы... Я уже было собрался задать вопрос, но Шелехов опять меня опередил:

– Вы про карате сказали, чтобы успокоить Фомича, или, в самом деле занимались борьбой?

– А Фомич – это прапорщик?

– Да, он самый...

– Считайте, что так – переживал сильно человек, надо было как-то успокоить...

Едва заметно он усмехнулся и продолжал, молча, курить.

– Вы – Шелехов Василий Семенович, не так ли?

– А вы думаете в этом заведении могут привести кого-то другого, если вы заказали именно Шелехова?

Меня всегда бесила привычка людей отвечать вопросом на вопрос: похоже, он проверяет мои нервы.

– Не думаю, что здесь могут допускать такие ошибки, но я журналист и считаю, что достоверность во всем должна быть во главе угла. Я вам представился и по тому хотел бы удостовериться, что передо мной именно тот человек, которого я хотел видеть. Поймите, я здесь не ради праздного любопытства...

– А ради чего? – нет, этот художник не хочет отдавать мне инициативу, и его вопрос возникает сразу, едва я заканчиваю говорить.– Мы с вами не знакомы, и я не просил о встрече с журналистом...Также я не писал кассации и не просил помилования. Мне непонятен ваш визит...

– Я готов объяснить, если вы, наконец, позволите это сделать...

– Прошу покорно извинить,– вновь перебил он меня, – ваш коллега однажды тоже что-то пытался выяснить...Вы знаете финал той встречи?

– Ого! Это что, предупреждение? – я внутренне подобрался, хотя и до этого особо не расслаблялся. – Мне что, следует нажать на «тревожную кнопку»?

– А как же карате? А впрочем, жмите, если вы уже выполнили свою миссию, или ...вам стало так страшно беседовать со мной – жмите, зовите Фомича... Но я считаю, только дурак наступает на одни и те же грабли дважды...

– Я вас понял, но поскольку кроме нас с вами здесь никого нет, то давайте будем считать, что все дураки остались где-то там, далеко...

Несмотря на то, что эти слова я произнес ровным и спокойным голосом, но где-то в самом тоне прозвучала легкая ирония, уловив которую, Шелехов криво усмехнулся, какое-то время еще смотрел на меня недоверчиво, а потом вдруг рассмеялся:

– Нет, похоже ты другой, не как тот щегол... Давай на «ты», а то вряд ли разговор получится: отвык я здесь «выкаты» – контингент не тот! Если согласен, то выкладывай, с чем пришел?

Потеряв инициативу с самого начала разговора, я был вынужден смириться с ролью ведомого и, глубоко затянувшись сигаретой, заговорил:

– Я видел твои картины, и захотел познакомиться с тобой... Я почти ничего не знаю о твоём деле, но почему-то уверен, что человек, который пишет такие картины, не может стать заурядным преступником. Прав я или нет – об этом я смогу узнать только от тебя. Захочешь – скажешь, не захочешь – неволить не буду... Но мне кажется, что здесь какая-то ошибка или недоразумение, и я готов тебе помочь...

– Помочь? А кто тебя просил об этом? Ты же говоришь, что знаешь здешние понятия: «Не верь! Не бойся! Не проси!»? Это же моральный кодекс зэка, а ты пришел невесть откуда, и хочешь, чтобы я тебе поверил, открылся, и, попросил о помощи... Что ж ты, мил человек, ставишь меня в неудобное положение? Или в самом деле хочешь на мне испробовать свое карате? Давай-ка, разойдемся без греха и мордобоя...

– Быстро же тебя зона обкатала! Еще недавно ты жил по другим законам, по нормальным, человеческим, а сейчас? Жаль, если я ошибся...

– Ошибся, если думаешь, что стал я серым уткой, который чтит все тюремные постулаты... хотя, если честно, приходится их брать во внимание, не то башки враз лишишься – здесь с этим просто ... Ты вот, наверное, думаешь, что здесь дно жизни, грязь, слякоть, дерьмо сверху плавает? Не без этого, но ведь и там, откуда ты пришел, этого добра хоть ковшом черпай! Из-за него-то, из-за этого ковшика, я и загремел сюда...

Я понял, что коснулся его нерва, больной раны, и любое неосторожное слово, любой намек могут вызвать вместо доверия взрыв негодования, обиды, злобы...

– Василий, можно так?

– Валяй... – махнул он рукой, попыхивая сигаретой.

– Что ты чаще всего здесь вспоминаешь из прежней жизни? Что тебя здесь тебя согревает?

– Слушай, ты, Кашпировский, ты что мне душу полоскать сюда пришел! – Голос Шелехова стал ледяным, мышцы лица напряглась, а сам он угрожающе привстал. – Меня здесь печка греет! Тебя устроит такой ответ?

– Ну, хорошо, Василий, а если по-другому: ты хочешь на свободу?

– Ну, блин, и вопросик!... У тебя что, других нет в запасе? «Свобода»! Да был я на этой гребаной свободе, был, еще совсем недавно, да только горько вспоминать об этом... Квартиры нет – снимал углы. Были друзья, потом... одни предали, другие – просто перестали узнавать, а женщины... женщины, вообще, любят победителей! Мои картины – и те у меня отняли! Имя украли! И везде-то я оказался «по нулям». А тут еще катастрофа с деньгами:

у меня же их там не было ни на водку, ни на жвачку, ни на холсты, ни на краску... И что мне та свобода?

– А эта? Тебе что, здесь лучше?

– Ну-у...

– Не понял?

– Не понял?

– Не понял! Представь себе, Василий, что я тупой... Просвети...

И он заговорил быстро, скороговоркой, так, что я, порой, не разбирал его слов. Глаза же его старались обойти меня, и я понял, что он «отбывает номер». Сделав небольшую паузу, он раскурил сигарету, и продолжил свой сумбурный монолог о прелестях тюремной жизни. Я сидел, набычившись, и слушал его, но ни один его аргумент меня не убедил, я не верил ему: это была либо прелюдия к серьезному разговору, либо попытка уйти от него вовсе. Мне оставалось только ждать... Он замолчал неожиданно, царапнул меня взглядом и затянулся дымом.

– Не веришь?– Он смотрел выжидающе. Я неопределенно пожал плечами, и этот жест можно было понять по-разному, но он понял правильно.

– Вижу, что не веришь, ну, да х...– он поймал слово на лету, глянул на меня и, увидев мою ухмылку, поправился,—...Бог с тобой, слушай...

6

Заговорил он не сразу. Затянувшись еще несколько раз сигаретой, он откинулся назад и, запрокинув голову, пустил к потолку густую струю табачного дыма. Она, смешавшись с, казалось бы, извечно невыветриваемым облаком, висевшим в кабинете, потревожила его, разбудила, и потолок поплыл...

– А знаешь, здесь жить можно! И даже получать какое-то удовольствие от этой жизни, веришь-нет?

По той паузе, что он сделал, я понял, что ему важна моя реакция. Вообще-то я всегда стараюсь себя контролировать, не давать волю эмоциям, и в разговоре, словно бы, наблюдать за собой со стороны. Не помню, когда я почувствовал это в первый раз, но со

временем такое «самолюбование вперемешку с самоконтролем» стало моей привычкой, и, скажу я вам, не самой плохой... Но сегодня я не «видел себя, не контролировал», и все из-за этого Шелехова. А вместо ответа на его вопрос – «веришь– не веришь», я только пожал плечами, предоставляя выводы делать самому художнику.

– Ну, ладно, хочешь – верь, хочешь – нет! У меня есть все для работы: краски, кисти, холсты, подрамники... О жратве думать не приходится – носят в мастерскую! Деньги? Они мне здесь не нужны, хотя небольшой запасик имеется... Кстати, может быть ты хочешь выпить? Пожалуйста! Не коньяк, правда, но «Старка» тоже неплохо. Ты скажи этому дяде, что за дверью прячется, что мы идем на экскурсию в мастерскую...

Я жестом остановил его. В голосе Шелехова звучала какая-то надсадная легкость и бравада, что мне не понравилось и я, не скрывая яда в голосе, спросил:

– Это что же, здесь твой «Вечный дом»? Может быть, и Маргарита у тебя здесь уже есть?

– ?!

– Ты хочешь сказать, что нашел здесь свой покой? Пойми, Мастер сначала создал шедевр! Он страдал, и этим заслужил тот покой, а ты? Забился в грязный угол и счастлив на казенном пайке?

– Я не говорил, что счастлив, – огрызнулся художник, – просто, мне здесь покойно... я устал... И вообще, я может быть иду от обратного: сначала – покой, а потом – шедевр, чем не вариант? Понимаешь, меня здесь не кантуют ни охрана, ни жулики; у меня здесь уйма свободного времени... А там, за этой проволокой, мы все делаем столько пустого, лишнего, суетного, что, порой, на главное и времени-то не остается. А здесь я пишу, пишу то, что хочу...

– Да что ты пишешь?! – взорвался я. – Рисуешь решетки, колючую проволоку... Бабуина этого – подполковника! А может быть портрет Паленого угодит в Третьяковку?! Столовую расписал в духе классицизма: три поросенка хлебают тюремную баланду! Это твой уровень?! Это твой шедевр, за который ты ждешь покоя в «Вечном доме»? Не мелко, товарищ?

Видимо, мой собеседник не ожидал от меня такой экспрессии и с застывшей ухмылкой на лице, молча, смотрел на меня. Я быстро взял себя в руки и жадно затянулся сигаретой.

– Как-то странно ты говоришь: не то хвалишь, не то ругаешь?...– неуверенно начал он. – Ну, сказал бы прямо, что, ни хрена ты не можешь, товарищ!... Или наоборот: гений ты, мастер, талантище! Все бы сразу стало понятно, а то как-то с вывертом...– и он покачал удрученно коротко стриженной головой.

– Ага, бальзам на сердце захотелось? Заслуженно или нет– неважно! Но приятно?

– Ага, приятно.– Усмехнулся он,– особенно, когда тебя хвалят эти... тюремщики. Ты их рисуешь, а они такие ласковые... Ты знаешь, мне, порой, кажется, что они меня готовы в задницу расцеловать, а знаешь почему?

Я недоуменно пожал плечами.

– Вот тут-то вся и штука! Заставить-то они меня рисовать смогут – кто я для них? Простой зек... А вот чтобы я хорошо их нарисовал, узнаваемо – тут и карцер не поможет! Вот и добреют они ко мне всей душой: краски, сигареты, выпивон... Потому, что картина – это надолго, на века, чуешь? Это посыл в вечность, а перед потомками всем ужас как хочется выглядеть сильным, красивым, хорошим..., в общем, героем! Вроде бы все они здесь простые, как кирзовые сапоги, а, подишь ты, понимают. Так что извини, старик, избаловал меня местный электорат – я тут мастер! Хоть в тюрьме, но слава, почет, признание!..

Похоже, его снова понесло, и он стал говорить со мной, как с придурком, что мне категорически не нравилось. «У него слишком лабильная психика,– думал я, слушая его рассуждения, – да и злобы поднакопилось: эк его бросает от угроз и надрыва к бравате и фиглярству. Холерик он, а такому тяжело с людьми, вот и спрятался он от них. А нервы, у него действительно ни к черту: на воле он их так подсадил, или уже здесь, в тюрьме?». Это мне еще предстояло узнать, но для начала нужно было вернуть разговор в колею хотя бы простого бытового общения.

...Словно почувствовав ход моих мыслей, Шелехов резко сменил тему разговора.

– Да, а ты действительно другой...Ты знаешь, как начал разговор тот щегол из районной газетки, Толик, кажется... « У вас хорошие картины, но расскажите, кого и за что вы убили?» Идиот! Идет на зону и не напрягся узнать, как себя вести. Нельзя тут задавать такие вопросы – на них табу, за это тебя самого убить могут! Не лезь в чужую душу, если тебя не хотят туда впустить – это же «зона!» Не понял, полез – получил!

– Это что же, угроза?!– с укоризной спросил я.– Я что, загрубил?..

– Извини!– вмиг успокоился художник.– Нервы гуляют... Он, этот пидор, пардон, ваш писака, где-то увидел мою картину «Каждому свое...», с тем и приехал. Сидит здесь и полощет мне мозга: «...Очень своевременная картина!..». Это что – издевка или глупость хама? Я сижу в тюрьме, рисую тюрьму, а он долдонит, что это – очень своевременно. Дурак, он даже не понял мою картину...

– Василий, успокойся – я ее понял и не буду тебя донимать такими вопросами...– мой голос звучал ровно, спокойно, что, похоже, благотворно влияло на собеседника: он как-то расслабился, перестал нервно подергивать пальцами, и даже глаза его потеряли свои колючки.

– Ты почему оставил театр? – воспользовавшись паузой в разговоре, я резко сменил тему разговора. – Ведь у тебя там, вроде бы, все было хорошо?...

– Именно, вроде бы...Хорошие премьеры удалось поставить в московском областном, в «станиславке»..., Олегу Николаевичу даже представили на одной тусовке – похвалил, обещал в театр пригласить на оформление постановки Чехова... да, видно, забыл мэтр про меня после фуршета... Но нашелся один дядя, некогда известный театральный художник, но уже изрядно подзабытый, как говорится, экс- мэтр... Предложил он свое имя под мои декорации: рискнем, говорит, если провал – моя беда, если фурор – наш общий, и мое имя – крупными буквами в газетах... Идиот! Лох доверчивый! Спектакль прошел «на ура», критика отметила наряду с режиссурой и игрой актеров, оригинальные декорации – «свежее решение...», но моей фамилии там рядом не было, зато везде было имя Арнольда Исаевича – так звали этого мудака! Нет, от дал мне какую-то сумму, и – бывай здоров, Иван Петров! Интервью давал телевизионщикам, а я рядом оказался... Хоть бы жест в мою

сторону сделал: вот, мол, тот проказник молодой!.. Не сделал, словно рука у него отсохла бы! А столичные газеты наперебой стали говорить о втором дыхании маститого театрального художника... Тьфу! Какое там второе дыхание – одна одышка! Но ему весь почет, новые проекты... Главреж поехал на Запад ставить этот спектакль – немцы пригласили, он и Арнольдика за собой потащил... Они полгода там жили и работали, а я...

– Тебе было обидно? Что больше тебя грызло: обида, зависть, уязвленное самолюбие?

– А-а, всего понемногу... Нет, вру! Понемногу не получилось – всего было много! Я был унижен, растоптан, обманут! Я плакал от досады... Я ведь чего хотел? Думаешь, денег, славы... Может быть, потом и от этого бы не отказался, но тогда мне нужно было простое признание, поддержка... Слышал такое: «духом окрепнуть»? Тот успех помог бы мне встать, распрямиться, заявить о себе... Ведь мне уже за тридцать было – не мальчик уже... А вместо этого меня кинули, как щенка, да еще надсмеялись...

– Василий, а ты боролся с ним? – этот вопрос я задал тихим голосом: боялся его новой вспышки гнева, и не ошибся. Он вскочил на ноги и заметался по кабинету:

– Да как же мне с ним бороться?! У него же связи, деньги, авторитет, наконец, хоть и застарелый... Он, как старая акула в аквариуме, а я – как жалкий пескарь!... Сунулся я к хударуку того театра: вы-то знаете, чьи были декорации в спектакле, чье оформление?... А он меня, как больного, только похлопал по плечу: идите, мол, голубчик, работайте... Знакомые посоветовали в «Московский комсомолец» идти: там, мол, такие скандальчики любят, разберутся! Поверил, пошел. Помогите, говорю, защитить право автора! Знаешь, что мне сказал твой коллега-журналист, кстати, тот самый, что и написал оду Арнольдiku? «...В вас, молодой человек, говорит комплекс подмастерья!...» Нет, ты понял? Это он мне такое! Потом добавил: «Испокон веку подмастерье завидует мастеру... Это можно понять, но принять и простить – не-е-ет! Чрезмерное честолюбие и алчность – страшные и низкие пороки для творческого человека!...». Ох, сколько же он мне тогда наговорил всего! Даже попытки не сделал разобраться в ситуации, ни сочувствия – одна соль, и все на рану! Сразу-то я и не понял, что он издевается надо мной... «Ваши эскизы еще ни о чем не говорят – с шедевра всегда можно сделать

кальку, да и ваши ли эти эскизы, не Арнольда ли Исаевича? ... Я был как в дурмане: там же, в редакции, хотел доказать, что это мои труды...

На мгновение он замолчал и нервно принялся раскуривать новую сигарету.

– Мы спустились в печатный цех, прямо с барабана открутили бумагу и я стал рисовать. Я хотел нарисовать свои эскизы ... Собралась толпа журналистов, рабочих типографии... Мои руки дрожали, кисть не слушалась меня, я мазал краску, я ... не смог! Я был уничтожен! Я сам себя уничтожил! Я сидел рядом со своей мазней убитый, но никто из них не подошел ко мне, не сказал ни одного слова утешения. Когда они уходили, то я услышал смешки: «засранец с претензией на гения!» И только один старый рабочий, когда все разошлись, подошел ко мне и сказал: «Сынок, я не знаю причину твоего горя, но я понял, что ты хотел сделать что-то хорошее, настоящее. Но ты был слишком зол, а злость – плохой помощник в любом деле. Остынь, охолонься. И вообще, помни: не надо метать бисер перед свиньями! А в этой толпе у тебя не было друзей, и они никогда бы тебя не поняли, не услышали...». И ты знаешь, этот старик вернул меня к жизни! Я зажал свою боль и ушел...

Он надолго замолчал, жадно затягиваясь сигаретой, и было видно, что возвращение к прошлому дается ему тяжело. Я молчал. Теперь судьбу нашего разговора решал только он. И он заговорил снова...

– В театр я больше не пошел, даже за трудовой книжкой. Он сам ко мне пришел... Арнольд Исаевич... Да, да, собственной персоной! ... Я онемел от его наглости, а он ничего не боялся, он был убежден, что все в порядке, что он неподсуден: принес коньяк и мою трудовую книжку. «Смотри, Вася, по моей просьбе тебя уволили из театра не за прогулы, как следовало бы, а по твоему «собственному желанию...». Деньги принес, скотина, остатки зарплаты и какую-то премию – поделился! Хотел я его выкинуть из своей комнаты, но... не знаю, как это случилось ... мы стали с ним пить коньяк, а он сетовал на прессу: мол, не разобрались, неправильно расставили акценты в рецензии, упустили мою фамилию... Мол, сейчас все равно поздно, и предложил еще поработать: главреж снова собирается за границу, в ту же

Германию, ему там предложили поставить что-то по Брехту, а он, Арнольдик, едет с ним, мне же этот старый хрен предложил поучаствовать в проекте, но...заочно: деньги – в валюте, но фамилии моей на афишах быть не должно...

– А ты?

– А что я?– как-то разухабисто ответил Василий, – допил коньяк и... послал его! Сказать куда?

– Да уж и так понятно...– усмехнулся я.

– Да-а, тебе хорошо, тебе все понятно, а вот я тогда и думать не мог, что мои злоключения только начинаются...

7

Теперь он надолго замолчал. Упершись локтями в колени и опустив голову, он едва заметно делал короткие затяжки, и тогда вверх опять тянулся сизый столбик дыма. Я, уже накурившийся до одури, только наблюдал за своим собеседником и ждал продолжения его рассказа. Через неплотно прикрытую дверь в кабинет врывались разные звуки: забухали гулкие удары в стену, приглушенной пулеметной дробью отметилась электродрель; а вот что-то с гулом прокатилось по узкому коридору раз- другой, и мне показалось, что кто-то неведомый принялся катать шары, как в боулинге; ...Наконец все стихло, и я явственно услышал за дверью тяжелое дыхание.

Услышал его и Шелехов и, не поднимая головы, усмехнулся:

– Фомич переживает за тебя...

Я улыбнулся в ответ, но в это время где-то рядом неожиданно и на высокой ноте рявкнула сирена. От неожиданности я вздрогнул.

– Спокойно, начальник! Это, наверное, птичка села на сигнализацию... Каждый день такое случается, и каждый раз солдатик бегаёт смотреть: сорока это, ворона или воробей, а мы балдеём...

– Ну, каждый развлекается, как может...

– Ага... Понял... А ведь я тогда, как этот солдатик-дурачок метался по Москве: оставаться дальше в своем театре я не мог – меня уволили, домой возвращаться – меня там никто не ждал. Нашел экспериментальный театрик на юго-востоке Москвы, «Шик-Модерн»

назывался...Ребята молодые, с амбициями... похоже, я ко двору им пришелся: ушел с головой в работу. Спектакль назывался «Шторм и штиль». Сценарий лежал «на полке» с брежневских времен, а тут, как сняли запрет, так сразу несколько театров схватились за него, в том числе и мой бывший... Арнольдик в Германии был, но вдруг объявился в Москве и взялся за его оформление. Узнал я – зарычал от удовольствия: сама судьба сводила меня с ним...Я засекретил свою работу донельзя, даже режиссера своего ознакомил только с общей концепцией: мол, потом покажу все сразу...Парень хороший попался, доверился... На 15 ноября у нас была назначена премьера, у Арнольдика – 1 декабря...Вот он, думаю, мой шанс поквитаться с обидчиком!...

– И что же?...

Он горько хохотнул в ответ, и, ерничая, развел руками:

– Ан нет!... Премьера у Арнольдика состоялась 8 ноября, за неделю до нашей, но главное не в этом: почти все мои декорации оказались ...у него! Опять обскакал меня Арнольд Исаевич!

– Да как же так, Василий?..

– «Шерше ля фам!»...Се ля ви!

– Да, похоже, через это дело ты даже французский выучил?

– Ага, выучил, и учил его я с Ларисочкой. Была в нашем театре такая артисточка: бездарь полная, но хороша! Уже потом я узнал, что у нее когда-то был роман с Арнольдом... А-а, ты не смотри, что ему было уже за 60 – он как конь их пахал! И купил он ее поездкой в Германию! Видать, не надеялся на ее ... подготовку в этом деле, ну... в оформительском – вооружил фотоаппаратом! Когда я увидел его у нее в сумочке, какая-то мысль ворохнулась в башке, но она не растерялась: быстренько разделась и попросила сфотографировать ее на фоне моих эскизов...Идиот! Увидел ее прелести – разомлел. Сам же таскал ее по мастерской: лучший фон выбирал, а потом не выдержал и... Еще раза два- три она приходила, без фотоаппарата, правда... Вот так, товарищ журналист...Она-то и сдала меня Арнольдику...

– Ну, а ты, Василий, как же?...

– А что я? Сразу после его премьеры была такая пресса! По всем каналам московским репортажи прошли. Спектакль у них «на ять»

получился, не то, что у нас! Что сравнивать: у них там заслуженных да народных, как собак нерезаных! Отметили и Арнольдика!...А у нас премьера прошла почти незаметно... Вру, заметил ее тот самый критик, что меня стыдил тогда... Статью написал, сволочь, и назвал ее «Вчерашний снег»... Написал он там о моей амбициозности, о дурном характере, «о разрушающей силе черной зависти...» – в общем, смешал меня с дерьмом – не отмыться! Работу себе в Москве я уже не нашел...

– А что было потом, Вася?– спросил я, боясь, что он замкнется, и не расскажет его историю до конца. Прелюдия ее мне была ясна, но я ждал кульминации...

– Что было?! – с усмешкой переспросил он, – потом были вино, женщины, распутно-беспутная жизнь, совсем как у Пушкина: «...без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...». Даже кончить себя пытался, дурак! Поболтался по Москве зиму, а весной подался в родные края, но меня и там не ждали! Грузчиком работал, сторожем, могилы копал...Там познакомился с бригадой «богомазов», ну, художников-оформителей: оформляли клубы, столовые магазины – денег много, а покоя в душе не было. И так два года, как в пьяном угаре! Мало того, что личная жизнь ни к черту, так и в стране бардак начался: ГКЧП, танки, оборона Белого Дома... Чую, внутри что-то надломилось, нервы на разрыв, да и мотор забарахлил: решил остановиться. Подрядился сельскую церквушку расписать. Месяц работаю, два, полгода...Верись-нет, со мной что-то твориться стало: пить бросил – даже не манило; почти не курил, про маты забыл... Легко как-то стало, а вспомню Арнольдика – словно гирию кто на грудь бросит! Задыхаюсь от обиды: он там за границей марки лопатой гребет, а я тут... А я ведь тогда за работу денег не брал: жил в келье, харчевался с попами – вроде, как долг отдал Господу нашему за гордыню свою неумную, за честолюбие, что меня корежило все это время. Лето работал я в церквушке, спокойным стал, про Арнольдика почти забыл. Неверующий я, а словно благодать на меня снизошла... Нет, не смогу я тебе этого объяснить, слов не знаю таких, да ведь и ты неверующий... не поймешь...

И знаешь, кто мне помог успокоиться и найти свою опору? Простой старик, дед Кузьма...Трое нас работало на церкви: дедок этот, отрок лет семнадцати-восемнадцати, Семен, и я. Старый дед

уже был, за семьдесят. Его еще пацаном вместе с родителями сослали в Нарымский край – кулаками они оказались. Сызмалетства отцу помогал дома штукатурить, красить, как-то потянулся к живописи и потом, когда им разрешили переехать в Томск, отец отправил его в монастырь: как чувствовал, что мало жить ему осталось...Мать-то к тому времени уже умерла.... А церковь – она во все времена сирым и убогим опорой была. Так и жил Кузьма в церкви. Попом не стал, но иконы писать научился, фрески... Перед войной батюшка их, настоятель, преставился, а энкэвэдэшники тут же церковь-то прикрыли и отдали под какие-то военные склады... И пошел дед Кузьма «в люди»... Всю свою жизнь церкви расписывал, от Дальнего Востока до Подмосковья: ни война ему, ни кукуруза, ни застой! Одно слово – божий человек! Не пил, а вот с куревом у него интересно получалось: как начинает расписывать церковь – бросает, а если уж прижмет сильно, то уйдет от храма подальше, чтобы крестов видно не было, накурится до одури, а потом молится. Да не так, как иные сейчас, размахисто, кося глаз на окружающих: хорошо ли смотрится со стороны? Нет, про себя что-то бормочет, губы только движутся, да слышно порой: «Господи, прости мя непутевого...». А пацана этого, Семку, он где-то на вокзале выцепил: побирался он там, подворовывал слегка, ну, пожалел мальчика, взял с собой, научил растирать краски, грунтовать стены, а когда ослабел, стал Семку... Симеона, так он его называл, это он для меня Семка, учить иконописи, но молод был еще малец, да и интереса особого не проявлял, а тут я оказался на их пути... Вот и стали работать втроем... Работа несложная, так бы и дальше работал с ними, да стало тянуть меня к людям, в суету, в страсти-мордасти... Дед как чувствовал это и часто разговоры со мной вел «за жизнь»... Любил он приговаривать одну фразу: «Людям служишь – к Богу идешь!». Много всего он рассказывал, но больше всего запомнился мне один его рассказ – притча о праведном богомазе...

Притча о праведном богомазе

В те стародавние времена, когда на Руси еще были цари и помещики, ходил по городам рисовальщик по имени Феодор. Корней он своих не знал, родителей не помнил, но как самое заветное и дорогое носил он на груди своей ладанку, и там, рядом

с молитвой и крестом, хранился клочок измятой полуистлевшей бумаги, где церковно-славянской вязью было прописано, что податель сего, Феодор Беспрозрачных, является вольным человеком. С раннего детства открылся в нем дар к рисованию. Писал он углем, красками, мелом, сажей— чем только не приходилось,— но лучше всего у него получались картинки из жизни простых людей, веселые да яркие. В базарные дни его лубки быстро расходились, давая ему небольшой доход. Так и жил Феодор. Известен он был во всех подмосковных городах и посадах. Видно за нрав его легкий да картинки озорные непривычные для Руси имя Феодор как-то само собой превратилось в близкое русскому уху «ФЕДОР». Так и стал Феодор Федором.

И вот приснился Федору в ночь перед Пасхой странный сон. Разверзлось над ним ночное небо, и оттуда голос дальний слышится:

« Много светлых и добрых картинок написал ты, но Бога сторонисься. А дар тебе Творцом дан, и потому должен ты сослужить службу и помочь людям...». И повелел тот Голос ему идти в город Славск, в церковь святого Покрова и спасти Славскую чудотворную икону Пресвятой Девы - Богородицы, что пострадала от пожара. «Откроется в тебе, Феодор, дар великий в писании лика Божьего, и за то надлежит тебе хранить Веру в Господа нашего нетленною, избегать мирских соблазнов, ибо корысть губит все благие дела и гасит любой светильник. Сохранишь себя от искушения – ждет слава великая на многие века, и люди поклоняться будут дару твоему, а отступишься от Веры – ждет тебя кара страшная! И на раздумье у тебя только одна эта ночь...». Хоть и не был Федор слишком набожным человеком, а все же решился испытать себя в этом деле...

Настоятель Славской церкви встретил ласково, словно всю жизнь поджидал его. Рассказал о бывшей чудодейственной силе иконы, которая больных исцеляла, слабых укрепляла, а заблудших наставляла на путь истинный. Из Москвы и из самого Санкт-Петербурга князья да бояре наезжали поклониться святой иконе. Великая слава шла о ней по Руси, оттого и дела у обители шли хорошо: поля церковные давали богатый урожай, закрома ее были всегда полны хлебом, а ряды послушников и прихожан не оскудевали. А случился однажды пожар в церкви. Весь люд

окрестный поднялся на помощь церковному братству в борьбе с огнем – отстояли храм, но словно выело пламя алтарь и иконостас, а главное, пострадала святая икона: огнем опалило лик святой и копоть въелась в дерево. Хоть мыли ее, да не смогли отмыть и снять упавшую на нее порчу. Зазывали многих художников-богомазов, дабы вернуть иконе чудотворную красоту и силу, да все зря оказалось. Не стало гостей издалека, поредели ряды паствы, захирела церковь...

Сорок дней и сорок ночей работал Федор над иконой в отведенной для него келье, сопровождая работу святой молитвой. Лишь изредка на короткий срок выходил за порог кельи, чтобы взглянуть на солнышко, вдохнуть свежего воздуха, и снова брался за кисти. Все это время держал себя в строгости и питался только черным хлебом и водой. Тяжело и трепетно шла работа, но когда по окончании сорока ден настоятель вошел в келью, то увидел, что она имеет свой первозданный вид, такой же точно, что был до пожара. Еще не веря глазам своим, провел батюшка рукой по свежим краскам, словно проверяя, крепко ли они лежат на потемневшем от времени дереве, но даже искушенное око настоятеля не смогло отличить, где старые цвета, а где новые. И, словно в подтверждение ее чудодейственной силы, засохший цветок, стоявший на подоконнике, дал молодой побег. Осенив себя крестным знаменем, настоятель принялся будить спящего Федора – чудо свершилось!..

...А для Федора настали новые времена. Слава о нем за много верст впереди бежала под малиновый перезвон колоколов церковей, что он расписывал фресками. Себя Федор продолжал в строгости держать: не бражничал, табак не курил, денег за работу не брал, столовался вместе с братией, молился каждодневно, носил скромные одежды. Докатилась слава до Москвы златоглавой – и там он отметился своей волшебной кистью: купола церковные расписывал, иконы малевал, книги священные оформлял...

Но не только церкви расписывать его зазывали, а и часовенки в богатых домах. И чем богаче купец или помещик, тем богаче стремился украсить свою молельню. По-прежнему не брал за свои труды денег Федор, а где-то в глубине души с горечью отмечал, что харчи во дворцах богачей вкуснее, наряды ярче, а

сапоги – крепче. И как-то само собой случилось, что он охотнее стал брать подряды в таких имениях, а деревянные церквушки стороной обходить...

У одного богатого купца, где он расписывал беседку в саду, увидел дочь его Алену, и жизнь для него потеряла интерес! Чтобы не делал, а перед глазами только ее светлый лик стоит. Вскоро они познакомились, разговоры меж собой стали вести и, похоже, полюбили друг друга. Впервые Федор задумался о своей жизни: тридцать три зимы уж встретил он, а все один: ни семьи, ни двора своего. Втайне ото всех написал он портрет своей возлюбленной, но проведая купца о встречах дочки с богомазом и картине написанной им. Заставил Федора выдать ее, а осмотрев, похвалил за доброе умение, денег дал – 10 рублей серебром, а на просьбу молодых о благословении лишь засмеялся:

– Руки у тебя, Федор, золотые, да только чтобы породниться со мной, нужно золото еще и в кошельке иметь! Ты ведь блаженный – ходишь по Руси и без корысти всякой церкви расписываешь, иконы малюешь, а денежки-то мимо плывут! Хочешь со мной породниться – принеси 1000 рублей золотом! И сроку тебе даю три месяца, не то враз отдам Алену за сына заводчика Макагонова – он давно грозит сватов заслать...

Крепко опечалился Федор после такого разговора – понял, что век не видать ему свою любимую: ни за что не отдаст купчина свою дочку за бедного, хоть и известного доброй славой художника. День думает, два – с лица сошел... А тут какой-то мужичонка чернявый да пьяненький подвернулся. Разговорил он загрузившего жениха, а потом совет на ухо шепнул:

– Знамо дело, что тебя тревожит, да только печаль твоя пустая: обет-то ты свой выполнил сполна – воскресил святую икону-то! Сколько церквей расписал, а так все и ходишь в худых сапогах да один, как перст. Надобно и об себе подумать!...

– Не можно так, – насупился Федор, – я слово дал и нарушить его не могу...

– И не давал ты никому никакого слова, Федор, запомнил ты, – наседали на него мужичок. – Осенило тебя во сне, вот ты и пошел к Святой Иконе, а слова никакого не было... Да и кто ты теперь

такой – знаменитый богомаз Феодор! Теперь твое Слово должны слушать!

Задумался Федор – и точно выходит: никому он никакого слова не давал, сон видел, только сон, а раз так, то и нарушать нечего... Да и столько он уже сделал на своем веку ради церкви, надо бы и о себе подумать...

– Конечно, о себе, только о себе!...– продолжал нашептывать чернявый. Тут бы встряхнуться Федору, прозреть рассудком: откуда этот незнакомый мужичок прознал про его давний сон, про Алену, другие тайные мысли вызнал, но словно мрак опустился на его чело – не разглядел он в этом докучливом мужичке нечистого...

...А тут прознал Федор, что некий граф, часто бывавший при царском дворе в Санкт-Петербурге, хочет у себя в подмосковном имении парк обустроить по типу Петергофа. Садовников, мастеров по фонтанам выписал из-за границы. Больше года шли работы, к концу дело шло. И часовню уже построили, да только не было у графа художника, который бы расписал ее. Много богомазов предлагали свои прожекты, но все граф отверг: хотелось ему не христианскую часовню иметь, коих на Руси тысячи были, а заселить ее наядами да дриадами, другими языческими существами, чем так славились древние Греция и Рим, и все оттого, что назвал он свою часовню «Олимпией». А в центре панорамы он хотел видеть обнаженную Венеру, выходящую из пены. Запала в памяти графа картина незнакомого ему художника, когда он путешествовал по Италии, и загорелся желанием иметь у себя такую же красавицу. Время шло, а художников не было. Крепко загрустил граф: весна на исходе. В конце лета государь в Москву собирается, к нему на приглашение обещался быть, а тут в самом сердце паркового ансамбля часовня не расписана стоит!...

...Волновался Федор, когда представлял графу свои эскизы: неведомо ему было это искусство. Одно дело в сельских церквях святые лики писать, знакомые с раннего детства, а тут боги чужих ему стран да все сплошь в наготе своей, что непривычно русскому человеку. Только после долгих разговоров с графом и его иноземными гувернерами, после изучения книг с большим количеством гравюр иноземных художников, понял Федор

замысел графа и предложил ему свои проекты...Напрасно волновался Федор – понравились графу его наброски и на радостях посулил он ему 1000 рублей золотом...

На десять сажен вверх, под самый купол, поднялись леса, где и занял свое место Федор. Работа кипела. День и ночь трудился богомаз, порой и ночевал на лесах – торопился, потому как знал, что три месяца – срок крайне малый для такой большой и трудной работы, но Алена...

Третий месяц шел к концу, в графском парке на некоторых деревьях стали появляться первые желтые листья – середина августа! Утомленный, исхудавший и обросший русыми волосами, сделал Федор последний мазок кистью и преломил ее, как всегда делал в конце большой работы, спустился вниз. Пока работал – никто не смел войти в часовню, кроме хозяина, А тут, как только открыли двери часовни, вся дворня сбежалась поглазеть на чудную роспись, а вслед за слугами пришел и сам граф с гостившим у него французским виконтом. Ткнув свои близорукие глаза в лорнетку, виконт долго рассматривал фрески, цокал языком, выказывая свое удивление и одобрение, а затем разразился целой тирадой:

– То есть Аркадия, шарман! Афродита - колоссаль! Я была Греция и Рим, видель храмы, картин! Русский Боттичелли! Я есть взять его Париж! Европа – культур, Россия – варвар...

– Эге, мусью,– одернул его самодовольно граф,– «Европа - культур!», а богомаз-то наш, расейский! Выходит, твое почтение, Европа – варвар, а Россия – культур!

– О-о, мон шер, я понималь – это шутка, а богомаз – уникам! Его дом жить Европа!

Довольные, переговариваясь то на ломаном русском, то на дурном французском, граф и его гость отправились на открытую террасу, где для них был накрыт богатый стол, а слуги принялись разбирать леса...

Велел граф позвать Федора, а когда тот явился, налил ему самолично большой хрустальный бокал бургундского вина за успешное завершение работы да повелел дворецкому произвести с богомазом полный расчет согласно уговору.

...Усталый, до конца не отмывшийся от въевшейся в кожу краски, Федор собирал свои скромные пожитки, и главными среди его вещей были краски да кисти... С пренебрежительной гримасой дворецкий внес в его комнатушку ларец с золотыми монетами, открыл, показывая содержимое:

– Здесь ровно 1000 рублей, а вот здесь оставь свой палец,– и он протянул ему свиток бумаги.

Слегка захмелевший от вина и похвал Федор, не переставая улыбаться, ткнул пальцем в краску на своей рубахе и отпечатал его на свитке дворецкого.

– Будешь пересчитывать?– не скрывая презрения, сквозь зубы спросил он Федора.

– Да что, поди, барин не врет...

-- Цыц, холоп! - взвился графский слуга. – Забирай свой кошель, да проваливай, пока на конюшне не высекли!..

– Ах, так?!– Федор исподлобья взглянул на графского лакея,– а я сейчас все пересчитаю, а то неровен час ты украл у меня золотую монету!.. смотри, все донесу его сиятельству.

Лицо дворецкого стало белее его парика, ноздри хищно задергались, но Федор только усмехнулся и стал неторопливо перебирать золотые монеты.

– Де не дуйся, как индюк, твое лакейское обличество, вот сосчитаю и пойду, однако запомни, что богомаз Феодор не холоп, а вольный человек, и имя его знают не только в усадьбе твоего барина...

Красный от негодования дворецкий выскочил из комнаты, а Федор еще какое-то время машинально перебирал монеты своими натруженными руками, и в их перезвоне ему чудились малиновые переливы колокольчика тройки, уносящей их с Аленой под венец... И тут его ухо вместо колокольчика вдруг уловило какой-то нарастающий тревожный шум, что несся со стороны часовни. Закончив короткие сборы, он подхватил в одну руку ларец деньгами, а в другую – сумку со своим нехитрым скарбом и вышел из комнаты. Навстречу ему попались слуги– мужики, бабы–, что бежали со стороны часовенки с громкими криками и крестились на ходу:

– Чур меня, чур!...

Поняв, что в часовне творится нечто страшное, Федор кинулся туда – его тревожила судьба фресок. У раскрытых дверей в страхе жались два конюха, садовник и дворецкий – их взоры были устремлены вверх, под купол. Оставив трапезу, на крики прибежали граф и его гость, домашние слуги. Вбежав на крыльцо, Федор бросил свои вещи на каменный пол, вбежал вовнутрь помещения, и перед его глазами возникла страшная картина: панорама, написанная им в лазурно-изумрудных тонах в куполе часовни и стенах, на глазах темнела, превращаясь из небесно-голубой в темно-синюю, а потом в зловещую и мрачную черноту... Светозарные амурь, коих он расселил по краям панорамы, стали морщиться, словно живые, темнеть, и вскоре превратились в грязных и уродливых чертей, а в центре купола, где Федор расположил нагую прелестницу Венеру-Афродиту, теперь проросла безобразная личина Люцифера...

– Нет! Не может быть!– возопил Федор, простирая руки вверх,– это чья-то злодейская рука!.. Я сейчас, ваше сиятельство!.. Вы же сами видели!.. – И, растолкав слуг, он кинулся к лесам, не слыша предупредительных криков. Леса угрожающе зашатались, нороя рассыпаться, но, похоже, обезумевший Федор не замечал этого. Оказавшись на самом верху, он провел рукой в некоторых местах: на потолке и на руке остались следы не то грязи, не то черной краски, а над его головой и без того черные тона сделались еще чернее, со зловещим свинцовым отливом, и вдруг на него хлынул грязный поток. Он лился ему на голову, на плечи, руки, дальше, по одежде, и уже затем, в с 10-саженной выси обрушился на головы стоявших внизу людей. С визгом все бросились врассыпную, а Федор, раскинув руки и с глазами полными ужаса, стоял на самой вершине лесов и наблюдал, как гибнут плоды его трудов. Он онемел от горя! В это время что-то дрогнуло под сводами оскверненной часовни, леса медленно стали складываться и богوماз Феодор, грязный и страшный в своем горе, с душераздирающим криком рухнул вниз. Когда к нему подбежали, он уже был мертв...

Я долго молчал, подавленный услышанным рассказом. Молчал и Шелехов, пытливо наблюдая за моей реакцией.

– И что же дальше? – внезапно осипшим голосом спросил я.

– Не знаю, – неопределенно пожал плечами Василий, – притча вся...

– Это притча, а Кузьма, церковь?...

– А-а, это... Умер вскоре Кузьма, а в последние дни был он как божий одуванчик – ослаб, голос стал ломкий... А Семка сбежал тут же, даже на похороны не остался – ошибся в нем Кузьма... Кончилась работа – пошел я в другую церковь, но там батюшка был продвинутый: контракт со мной заключил на работу, да только в графе «плата за труды» ничего не вписал....

... Я, видно, дурак по натуре. Да-да, работал в театре, декорации оформлял, а мне хотелось картины писать! Представляешь – полотно 3 на 5, или того больше... Как у Рубенса или Тициана... Времени не было, денег не было, в общем, одно желание было... Утешал себя: молодой еще, успею, сделаю... Не получилось! Рисую я в церкви фрески, а тут батюшка предложил мне иконку старую поправить – согласился: интересно было попробовать... Иконы, фрески пишу, а душа просит небо, солнце, людей живых, смеющихся... Э-эх! А ведь я в это время сам как монах жил: не пил, не курил, баб не видел все это время! С ума сойти! А ты знаешь, что иконы не просто так пишутся, а обязательно с молитвой. Вот я сижу под куполом и бормочу молитву, а кроме «Отче наш...» ничего не знаю...

Месяц, другой, третий – похудел, бороду отпустил, а она у меня какая-то козлячья получилась... Стал подстригать, цивильной хотел сделать, а отец Никодим выговор мне: бесовским соблазнам уступаешь! Махнул я на бороду... А тут еще дела чудеснее стали происходить: сны меня стали одолевать – сплошная эротика! Природа!

– И ты пошел бы к бабам в соседнюю деревню?

– Если бы... Нарисовал я картину: три молодых женщины купаются в пруду... Молодые, красивые, голые! Сбогохульничал! Потом чуть поскромнее их сделал и назвал картину «Омовение послушниц в святом источнике». Никому не показывал, припрятал, но кто-то, видать, пронюхал и доложил настоятелю. Тот пожурил слегка, но

картину забрал: негоже, говорит, в божьем храме этакую срамоту держать. Я смирился...

Месяц работаю, а батюшка снова попросил поправить несколько старых икон – опять я согласился....Трапезничал также с братьями, да только стал я замечать, что пообносился совсем, спросил батюшку, а он мне в ответ: «Творцу ты и в таком виде люб, а закончишь подряд – сполна рассчитаемся!». Стал я искать в храме реставрированные мною иконы – не нашел, зато как-то поздним вечером увидел, как двое молодцев с золотыми цепями на шее грузили их в багажник своей иномарки, а с ними и моих «Монашек...» – смекнул, что к чему! Я – к батюшке, а он: «Не богохульствуй! Слугу Господа Бога под подозрение ставишь, иди прочь!».

Как ни смирен я стал к тому времени, а все ж душа закипела. К тому времени к работе с иконами я остыл: вторичен я там был, вслед другому мастеру шел, а меня свое распирает – дышать трудно! К тому времени я написал уже одну картину – «Первосвященник». После разговора с батюшкой, а особенно после всего, что видел я там, ворохнулось во мне старое: курить захотел, напиться, да и надоело босяком ходить, когда все братья чистые, аккуратные, довольные...В общем, продал я свою картину какому-то заезжему коллекционеру за доллары, и загулял опять!...Видать, благодать-то меня только с одного бока сошла...

Он опять надолго замолчал, затянулся новой сигаретой и молча уставился в пол перед собой.

– Василий,– я положил руку ему на плечо,– больше ничего не говори, не рви душу...

Шелехов продолжал молчать, и в этой звенящей тишине почти неслышно открылась дверь и показалась малиновая физиономия Фомича. Глазами он вопрошал: все ли в порядке? Я махнул ему рукой, и он исчез.

– Рви ее – не рви, а она всегда со мной, вот тут вот!.. – он с силой постучал по своей груди. – Казалось, нашел покой, душу смирил, но ведь тело-то тоже своего просит! Понял я, что негоже в отребьях ходить да с хлеба на квас перебиваться... Говорил мне и Кузьма, и отец Григорий – настоятель храма, где мы еще с Кузьмой-то работали, что проще надо жить, что богатство да роскошь, словно

вериги на человеке висят...Мне бы поверить, а я засомневался: сколько людей вокруг сытых да разодетых и без печали в глазах – и ведь живут, радуются! Тот же отец Никодим, последний мой...работодатель, так сказать, ведь святости в нем ненамного больше, чем во мне было, меня носом тыкал, как кутенка: «Смирись, о гордый человек, обуздай плоть свою греховную...», а сам в Великий пост водку пил и от ветчины не отказывался, да еще эти иконы... А тот же Арнольдик, он что, меня одного так кинул!?... Потом уж мне глаза открыли на его художества – и ничего: жена-старушка, любовница молодая, сам из-за границы не вылазит, а ведь не боится Бога-то, словно две жизни у него про запас припрятано. И так меня взорвало все это! Пойми, не зависть, не зависть это, а...а обида – за себя, за того же Кузьму, за всех кинутых и обойденных... Во – уязвленное чувство справедливости! Хорошо сказал? Ты же журналист, оцени! Другие-то молчат. Слабые они или действительно святые, и потому молчат и молятся, но я-то, здоровый, молодой, неужели за себя и за всех тех слабых и обойденных постоять не смогу!? Может быть как-то по-другому надо бороться было, да у меня, как всегда на Руси получилось – водка и мордобой. Не пошел я дальше этого, не сподобился...

– Арнольдик-то в это время тебе попался на пути?

– Да нет, чуть позже... А знаешь, я здесь комиксы рисую, и они всем нравятся, а мне за это даже лишнюю пайку дают и много чего еще...– и он неожиданно и беззаботно расхохотался.– В общем, это мой тюремный бизнес, и он идет у меня «на ура».– Похоже, Шелехов нарочно ушел от неприятной для него темы, мне же оставалось только поддержать разговор.

– Здесь многое проходит «на ура» и ... на халяву... Лучше скажи, какие картины ты здесь успел написать, кроме той, что я видел у начальника в кабинете? И где они?

– Писал я здесь: Баранова, «кума», «Паленого» – дерьмо все это собачье! Рисовал за пайку, за краски, за свой угол... А для души и от души написал я здесь пять картин: «Перст божий», «Солнцеворот», «Каждому свое»...А тебе зачем? Ты где их видел?

– А куда ты их дел?

– Ну, куда я могу их деть,– недоуменно отозвался Василий,– попросил Баранова передать в музей, чтобы они там

сохранились... Он еще отказывался сначала – хлопотно, мол, но потом вдруг согласился... Знаешь, чем я его взял?

– Догадываюсь: нарисовал галерею лагерных придурков...

– Это точно... Сначала я самого Баранова изобразил – начальник все же, «хозяин»... Моложавенький получился, худенький, да еще лишние звездочки на погоны наклеил – понравилось! Не возражал. Потом замполит стал кругами нарезать: тоже хотел на полотне запечатлеться...

«Кум» проще сделал: вызвал и сказал: «Надо!» С тем не поспоришь: любую каверзу может устроить... Дошло до «Паленого» – смотрящий здесь на зоне... Зазвал к себе, что да как? Ссучился? На ментов работаешь? Начал я что-то говорить себе в отмазку, да его черкесы так вломили, что чуть коньки не бросил... Пришлось и его рисовать... Видишь, какие у меня заказчики интересные! Правда, как Паленого нарисовал – никто голоса на меня повысить не смеет, ни те, ни эти, во как! Вот этими пальцами себе авторитет заработал! Все они у меня в камере перебивались... Да, хрен с ними! Что с картинами-то? Они в музее?

– Нет, Вася, в музее сейчас только одна картина – «Пробуждение»...

– Какое «Пробуждение»? У меня не было такой картины?

– Точно, не было, – усмехнулся я, – был «Перст божий»... Переименовали, музейщики переименовали по указке сверху, из департамента культуры – там же все атеисты!

– А как же я? Кто им разрешил? А мое авторское право?!

– Тебя в Москве сколько раз кидали с твоим авторским правом? И ты ничего не понял?

– А-а!.. – заскрежетал он зубами, – козлы гребаные, волки позорные!..

– А из всех твоих картин в музее только эта и осталась, – повторил я, словно желая проверить его реакцию: в первый раз он пропустил это мимо ушей, но в этот раз он весь вскинулся:

– А где же другие?

– Две продали какому-то иностранцу, а одна погибла от дождичка в хранилище... Еще одна – в редакции газеты «Светлый путь», там я ее видел сегодня.

– Суки!– Взревел Шелехов,– как они смели? Я же не давал разрешения на их продажу!

– Картины-то в музей не от твоего имени переданы, а от ИТК № 49... Про тебя вообще шуток ходит, что ты тихо почил в бозе в местах не столь отдаленных... Вот Баранов с директором музея, видимо, обо всем столковались и картины ушли. Правда, директор чуть место не потерял, но пронесло, кажется...

Слушая меня, Шелехов зверем метался по камере, пнул приоткрытую дверь, откуда немедленно раздался отчаянный крик и в дверном проеме появился разъяренный Фомич. Его одутловатое лицо было пунцовым, правой рукой он держался за лоб.

– Ты что, в натуре, ох...л?– начал было он возмущаться, но был остановлен другим свирепым криком:

– Пошел вон отсюда!– это заревел Василий, и швырнул в прапорщика свою зажигалку. Охранника, как ветром сдуло, но через мгновение он снова возник на пороге:

– Ты что понтуешься, сучара?! В карцер захотел?

Я уже был готов вступить за художника, но тот, к моему удивлению, решил проблему сам: он остановился перед прапорщиком и, набычившись, с угрозой в голосе, бросил ему в лицо:

– А тебя, Фомич, я рисовать вообще не буду, понял? Я тебе сделаю посмертную маску, понял?!

Тот как-то сразу обмяк и, виновато улыбнувшись, молча исчез за дверь. Несмотря на природное косолапие, это у него получилось быстро.

– Лихо ты его, прямо, как-то не по-товарищески...– я был настолько удивлен увиденным, что не нашел других слов.

– А-а, идет он!.. – отмахнулся Василий,– так что с картинами-то?

– За границей они, Василий, в Лондоне...

– Почему знаешь, что в Лондоне?

– Сам читал в газете «Таймс»... Аукцион там был. Продавали несколько картин – одна из них твоя... «Солнцеворот»... продали за двести тысяч...

– Долларов?! – он спросил это полушепотом, а в глазах было неверие и испуг. – Это же... новыми деньгами... больше двух с половиной миллионов рублей?!

– Да, Вася, долларов...

– Так, значит, я здесь баланду хлебаю, вшей кормлю, а там мои жемчужинки!.. И Арнольдик там! А мне еще пять лет здесь париться?!.. – и он, уткнув лицо в свои ладони, зарыдал, приговаривая сквозь слезы: «Боже! Как же так!?...». Выждав несколько минут, я подошел к Шелехову и, положив руку на плечо, принялся его успокаивать:

– Вася, Василий... Две картины мы спасем. Не волнуйся, спасем!.. «Перст божий» я купил в музее, она будет у меня, она тебя дождет... «Каждому свое» – она в редакции, редактор ее отдаст мне – обещал! – я сохраню ее, не волнуйся... А те две... пусть они расскажут миру, что есть в России такой хороший художник Василий Шелехов – это теперь не только твоя слава... За ней вся Россия стоять будет, понимаешь?

Василий смотрел на меня с недоверием, в его глазах блестели слезы, губы еще подрагивали, но на лице уже зарождалась улыбка.

– Спасибо! – тихо произнес он и протянул руку, но в последний момент отдернул ее. Я понял его растерянность и после секундного колебания сам предложил ему свое рукопожатие...

9

– Ну, закурим на прощание, – предложил я и протянул Василию свои сигареты. Он с виноватой улыбкой взял одну и, в свою очередь, предложил свой «Парламент». Мы курили, стараясь не смотреть друг на друга, а внезапно возникшая близость внесла в наш разговор какое-то чувство неудобства, и мы словно стеснялись ее. Первым не выдержал Василий.

– Что не спрашиваешь?

– Не хочу закон преступать, даже если он придуман в тюрьме... Да и за лицо свое боюсь – ты, говорят, драчун отменный...

– Силен, мужик!.. – с легким восхищением произнес художник и одобрительно похлопал меня по плечу, затем, словно спохватившись, отдернул руку. То, что я спокойно отреагировал на его панибратское похлопывание, видимо, послужило для него последним аргументом.

– Ты хочешь знать, почему я здесь?

– Хочу, но не ради любопытства, а потому, что хочу помочь тебе...

– Что ж, слушай! Завел ты меня... Вот он, конец моей истории – никому не говорил... Нет, вру, адвокату рассказал, но тот сказал, что дело тухлое, мне никто не поверит и предложил свалить на водку: пьяный, мол, был, ничего не помню!...

... В общем, прошло около трех лет, как я свалил из Москвы. Работал, пил, гулял, с Кузьмой церкви писал, потом этот Никодим... потом я снова запил и на вольные хлеба пошел... И за всем этим стал как-то забывать о делах столичных, об Арнольде Исаевиче... Что-то рисовал на продажу, деньги, в общем были, и вдруг приходит заказное письмо из Израиля, от Арнольдика... Он там, оказывается, подвизался в последнее время... Он писал, что ему удалось организовать в Русском театре постановку спектакля «Шторм и штиль», что его там высоко оценили... Сказал, что готовят новый спектакль, и что его сценарий он мне пришлет... Предложил поработать на тех условиях: работа – моя, а деньги – его, в долларах, конечно, или в шекелях... Наглец! Он покупал меня открыто, как шлюху на панели, он покупал мой талант!...

Упершись локтями в колени, он вытянул перед собой руки ладонями вверх, как это делают сломленные бедой люди, обращаясь за помощью, за милостью, и смотрел на них широко раскрытыми глазами, готовый зайти в новом приступе... Но вот он вскинул голову, ударил кулаком себя по ладони:

– ...Если бы он был рядом в ту минуту, я бы его разорвал!... Я не стал ему отвечать, хотя адрес на конверте был. Через месяц приходит бандероль, а там – сценарий новой пьесы... Еще через месяц – перевод на кругленькую сумму, не в долларах, конечно, в рублях... Я его не пошел получать... И откуда только этот стервец мой адрес узнал?...

– Спокойно, Василий, не отвлекайся... – мягко остановил его я.

– Все, все, я – спокоен, я – спокоен... Еще через месяц приезжает он сам, своей собственной гнилой персоной ... Я тогда уже в Новосибирске был, где меня приютил мой старый товарищ Кирилл Конев... Он – дизайнер, и по контракту уехал на три месяца в Японию, а мне оставил свою мастерскую... Да и какая это мастерская, так, каморка на чердаке... Но Арнольдик нашел меня и там...

... Я был один, бутылку коньяка уже одолел, открыл вторую и работал над картиной... Вру!... Работал я над эскизами декораций к тому самому спектаклю... Нет, ты не подумай, что я хотел ему их продавать, просто ... хотел еще раз проверить себя – ведь я уже давно не работал в театре. В общем, появились у меня задумки, они и не давали мне покоя... Да ты сам журналист – поймешь меня!.. Он зашел ко мне смело, как к себе домой... Даже не вошел, а влез по вертикальной лестнице на чердак и даже одышки у него не было... Увидел мои эскизы, и чуть целоваться не полез – так был рад. Мне казалось даже, что он меня вот-вот по щеке пошлепает: «Молодец, мол, сынок! Работай!». К дружку, говорит, своему старому из оперного приехал, да тебя решил навестить... Мы о чем-то говорили с ним, но сейчас уже не помню о чем... Мой коньяк стоял на подоконнике. Арнольдик спокойно налил себе и выпил, и все это по-хозяйски, без разрешения... Я обалдел от его наглости, я попросил его уйти – он отказался и ...

– ...И что было дальше?

– Да подрались мы... Знаешь, как мужики дерутся? Ну, вот... Я стал его подталкивать к выходу... Он ударил меня, я – его, завязалась драка... Он кинул в меня табуреткой – я увернулся, и она попала в мольберт, где была уже почти готовая картина: порвал холст, уронил краски. В общем, все разрушил, а ведь картина для художника это... это же его ребенок... не знаю, поймешь ли меня? Я ее родил, а он по ней – табуреткой!.. Я озверел, я с ума сошел!.. Я заревел, как раненый бык, и бросился на него, а он кинулся на выход... А там лестница отвесная, хотя высота всего-то 3-4 метра, а, видать, хватило... Упал и... все Не выдержали старые кости свободного падения! Клянусь, я готов был убить его, но... не успел. Я из горла допил коньяк, потом хотел спуститься к нему, но отключился тут же у люка... Очнулся, когда рядом были врачи,

милиция – видно кто-то услышал шум и вызвал их... Теперь ты знаешь все...

– Так ты-то здесь... как?– я был ошарашен его признанием.– Ведь ты не убивал!?

Он опустил голову и как-то странно замычал или застонал, а может быть, песня у него такая была. Я молча смотрел на своего собеседника и ждал.

– А ты уверен?

– Но ты же сам только что сказал?

– Сказал...Я и на следствии поначалу так сказал, да больно много улик против меня накопили следователи: меня нашли прямо у люка, руки у меня оказались в крови, а кровь эта была Арнольдика, видно, в драке я ему нос расквасил, пуговицу от его костюма нашли на полу... Следы борьбы и труп налицо! Кто-то из жильцов слышал мой рев: «Убью!!!» Потом меня уличили в том, что я хотел его убить еще в Москве: Ларисочка вдруг вспомнила, что я грозился в пьяном угаре «завалить Арнольда»... Видишь, как плотно меня обставили, а тут еще деньги, что принес с собой Арнольд, они были рассыпаны по мастерской у самого люка и внизу, куда он упал, вот следователь и выдвинул версию: убийство с целью ограбления! Скинул, мол, художник старичка-еврея, ограбил и скинул, да пьян был сильно и не смог скрыться с места преступления...

– Василий, да как же так! Если все так и было... ты же неподсуден! Это ж трагический случай... Нет крови на тебе, и ты же здесь не должен быть! А адвокат-то где был?

– Так адвокат тот был тех же кровей, что и Арнольдик; он-то и подсказал мне, что все надо валить на пьянство: мол, на Руси пьяных да убогих всегда жалели, а суд по-своему решил – не пожалел: червонец!

– И ты промолчал? Ведь есть кассация, есть просьба о помиловании...

– Есть, да не про нашу честь! Знаешь, посидел я в тюрьме под следствием, подумал о своей жизни, пообщался с небом, и плюнул на всех ... Устал я от такой жизни, от неурядиц, от подлостей, от ...себя такого!... А здесь, как-никак, меня никто не достает. Я ведь

про покой-то не трепался, да и, знаешь, может быть так и должно быть: я ведь действительно хотел его убить... Не успел, правда, пьяный был, но ведь хотел! И убил бы, наверное, будь немного трезвее да порезвее... Согрешил в помыслах своих, а это уже грех, и сейчас, вроде как, искупаю его...

– Василий, ты...– я с трудом подыскивал нужные слова, настолько я был

поражен услышанным,– нельзя так...Ты что, в Веру ушел?

– Не знаю, но чувствую, что мне так нужно, иначе я жить не смогу...

В комнате повисла гнетущая тишина, и мы слышали только дыхание друг друга. Мы думали об одном, и... оба боялись завести разговор, и вдруг тишину нарушил грохот в коридоре, словно по нему катили пушку петровских времен – от неожиданности мы оба вздрогнули...

– Гром небесный...– усмехнулся я,– Илья Пророк что ли у вас тут разъезжает по коридорам? – я взял тайм-аут и перевел разговор на другое.

– Часовню тут у нас достраивают, видел там горы кирпича,– также с некоторым облегчением отозвался Василий,– все к богу потянулись, а грешат пуще прежнего...

– Может очиститься захотели? Семьдесят лет от него отворачивались, а тут прозрение нашло, воскресение, как у Толстого, помнишь?

– Помнишь... Вот и я, вроде, как чистилище прохожу здесь... Воскресаю, только вот удастся ли ?...

– Такая цена за помыслы, хоть и греховные, за минутную слабость, Василий? Не слишком ли дорогая цена? Ведь эти годы тебе не вернуть?!

– Я для себя решил! А вообще, все мы, Феодоры, – слабые, жаждущие, а кто другой – тот действительно святой. Ведь вот услышал от тебя про картину в Лондоне – тут словно обожгло, – и он, морщась, стал растирать грудь. – Потом отпустило чуток, а сейчас вот снова...

Он побледнел, закрыл глаза. Я бросился к нему, помог расстегнуть воротник рубашки. Стул, на котором сидел Василий, стоял

посередине комнаты и был намертво вмонтирован в цементный пол. Осторожно поддерживая под руку, я усадил его на свое место за столом. Стол находился рядом со стеной, и Василий, почувствовав ее близость, сразу откинулся назад, закрыл глаза. Лицо его стало матово-бледным и покрылось испариной.

– Вася, расслабься, ничего не говори ... У тебя есть нитроглицерин? Где он?... Сейчас я Фомича позову...

– Н-не надо Фомича...– дыхание его было тяжелым, прерывистым, глаза оставались закрытыми. Не меняя своего положения, он осторожно вынул из кармана брюк стеклянный пузырек с таблетками и сразу две положил себе под язык... Прошла всего минута, но мне она показалась вечностью. Наконец он задышал ровнее и спокойнее, бледность перестала быть пугающей.

– Струхнул, журналист? Бывает у нас такое, бывает и хуже, но реже... такую вот кару я себе определил... Что уж тут суд с его приговором...

– Василий, да разве ж можно так-то? Ведь это сердце!?

– А что делать, если оно у нас за все в ответе: обидишь – болит, обманешь – болит... Грех на мне, а потому и искупление должно быть, иначе до конца дней покоя не будет... Да не бойся ты, я ведь только один удар пропускаю, чтобы только один рубчик остался...Таблетки всегда со мной...

– Все про грехи свои говоришь, про кару, ты что же, в Бога веришь?– я спросил наудачу, надеясь услышать в ответ какую-нибудь отговорку или шутку, но ошибся.

– Верю?...Не знаю, но Библия лежит в моей каморке, читаю регулярно, пытаюсь молиться...

– Но даже вера не мешает тебе обратиться с жалобой на пересмотр дела...

– А-а!– он вяло махнул рукой,– вот ты хочешь добиться пересуда, спасибо...Но это же все заново пережить, неужели ты хочешь пустить меня по новому кругу? Это же, как наезженная колея на дороге: все глубже, глубже...А у меня вот такой натюрморт сердечный. Да и потом, спросят, почему я почти три года молчал? Теперь уже немного осталось...

– Василий, я добьюсь от Баранова, чтобы тебя сейчас же отправили в лазарет, и ты не смей отказываться, слышишь, не смей!

– Ладно, журналист, не откажусь, только вот этим пусть твоя помощь и ограничится, а все эти пересуды – суета сует... Я тут уже начал говорить про часовенку...

– И что?

– А то, что подступался ко мне с разговорами «кум»: мол, поможешь нам расписать ее – грехи с души снимешь, а мы с тебя срок скостим, на «на удо» пойдешь по половинке, а то и по одной трети... Как говорится, «за примерное поведение, добросовестный труд и в связи с ухудшением здоровья...». В общем, формулировка будет примерно такая, не я первый – не я последний! Ну, и скажи, зачем мне твои суды – пересуды? Лучше уж я потерплю еще полгода-год без судов и адвокатов, да, к тому же, меня тут еще одно дело держит...

–?!

– Да, да... Хочу проверить себя на этой часовне. Помнишь, я говорил, что со мной творилось, когда я церквушку с Кузьмой расписывал? Самому интересно, снизойдет ли на меня снова эта благодать? Не угробил ли я себя тут вконец? Чувствую, что творится со мной что-то, да вот что, пока не понял до конца... Да и пальчики свои проверить надо, а то, сам говоришь, поросят да рожи лагерные рисую в последнее время...

– Но ты же рисовал свои картины?..

– О-о, это было в первые два года, а с той поры, знаешь, сколько я здесь баланды схавал? Да и не хочу я быть обязан какому-то дяде, что пожалеет меня и скостит срок, а тут все по-честному: заработал – получи! Я сам хочу выйти отсюда, сам, по половинке ли, по трети ли!.. Да и нет у меня никого на свободе, чтобы бегать по судам...

– Хорошо, выйдешь отсюда, но ведь судимость останется, это же клеймо на всю жизнь?!

–А вот когда выйду отсюда, тогда и имя свое отмою, сам! Если получится, конечно...

– А если не получится, если и здесь тебя «кинут»? Бывает такое?

– Наверное, бывает...Знать судьба моя такая – горе мыкать по полной программе! Знать, много грехов нацеплял я в этой жизни?!

– Нет, так не пойдет!– Я сел на стол перед художником и, глядя на него сверху, задумчиво разминал новую сигарету.

– Ладно!– словно отрезал Шелехов,– если «кинут» меня нынешние хозяева, вот тогда и понадобится твоя помощь, тогда я буду ее ждать, годится? Но о нашем разговоре никому, понял, ни- ко-му!...

...Расстались мы как единомышленники, выработавшие план дальнейших совместных действий. Выглядел Шелехов уже лучше, на его впалых, поросших щетиной щеках, казалось, даже появился легкий румянец. Прапорщику Фомичу я тут же в камере рассказал о сердечном приступе Шелехова, наказал немедленно показать его врачу, а Василия заверил, что попрошу Баранова отправить его в лазарет. Подполковник Баранов молча выслушал мою просьбу, кивая головой, но едва я закончил говорить, он вынес свое резюме:

– Это все ваши разговорчики его с копыт свалили...И зачем вам все это надо?

Едва сдерживая бешенство, я выпалил в лицо тюремщику:

– Многоуважаемый Виталий Николаевич, в вашей колонии сидит один из самых одаренных художников России, возможно, он гений. Пройдет совсем немного времени, и мы это узнаем. Даже если он и виноват, то он уже понес наказание, и он не должен умереть здесь без медицинской помощи! Ведь его никто не приговаривал к смертной казни! У вас есть возможность сохранить для страны талант, да просто человека, который давно и глубоко раскаялся в своем грехе: *«...и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим...»*. Найдите в своей душе хоть чуточку сожаления, не дайте человеку стать инвалидом в 40 лет, или того хуже... Об этой встрече, о художнике я обязательно напишу в своей газете, наверняка, это напечатают и в других газетах, и, в первую очередь за границей, вы же знаете, как там любят нас уличать в нарушении прав человека... Это не угроза, бога ради, поймите меня правильно – это просьба, огромная, нижайшая...Я обязательно напишу и о вашей колонии, и о вас, но каким вы будете в моем очерке – положительным героем или отрицательным – зависит только от вас...

Похоже, начальник был растерян от моего страстного и несколько сумбурного монолога, потому что он моментально взмок, и, выглядел подавленным.

– Да я уже и сам думал... Конечно, лазарет, сейчас же... Там, часовня...делаем, фрески, купол...Характеристика на него будет хорошая, будем стараться досрочно...Мы же русские люди, понимаем...

10

...Около полугода я находился в томительном ожидании. В повседневности будней, у меня где-то в подкорке свербила одна мысль: как там Шелехов? Как идет работа в часовне? Не сорвется ли условно-досрочное освобождение? Однажды, не выдержав, я позвонил в колонию. После дежурных любезностей, Баранов сообщил, что Шелехов расписывает часовню, что работа близится концу, что ее открытие и освящение намечено на Пасху. К тому же времени будет окончательно решен вопрос о его условно-досрочном освобождении... Я вам обязательно сообщу...

Прошло еще время, и, наконец, из Малиновска раздался звонок, коим полковник (уже полковник !) Баранов сообщил, что работы в часовне окончены, в «чистый четверг, накануне светлой Пасхи, Шелехов будет освобожден, и мы можем его встретить. Горячо поблагодарив полковника и поздравив с новым званием, я тут же принялся названивать в редакцию Малиновска Сивцову и в Новосибирск, в Союз художников, где работал единственный товарищ Василия, Кирилл Конев....

...На освящение часовни мы опоздали. Пока мы прошли через несколько КПП и прослушали лязг десятка металлических дверей и решеток, народ, работники колонии и заключенные, уже разошелся. Священник, высокий, статный мужчина, с красивой окладистой бородой, уложив в небольшой сундучок предметы, что он использовал на богослужении, которые он использовал при освящении часовни, мирно беседовал с чиновником из администрации, а рядом нервно похаживал Баранов, сверкая новыми звездами на погонах. Увидев нас, он пошел навстречу, распахивая объятия как старым друзьям, а с Сивцовым даже расцеловался.

– Что скажете?! – взмахнул он рукой, предлагая нам полюбоваться на внутреннее убранство часовни. Долго и внимательно вглядывались мы в библейские сюжеты, изображенные на стенах и куполе часовни, постояли в раздумье у алтаря, пока, наконец, Кирилл Конев, не выдохнул потрясенно:

– Лепота! Великолепно!..

– Достоинно, очень достойно! – вторил художнику отец Владимир.

Запах ладана, заполнивший небольшое помещение часовни, свидетельствовал о том, что священнодействие состоялось, и что теперь этот уголок «зоны» готов принять под свои своды всех страждущих и ищущих спасения своей души ...

...Легкий фуршет в кабинете начальника затянулся. Впрочем, это было объяснимо: выпили сначала за предстоящий праздник – Пасху, потом – за новую часовню, затем – за новоиспеченного полковника, а когда Баранов предложил выпить за освобождение «надежды русской живописи», мы, наконец, вспомнили, ради чего мы здесь.

– А где Шелехов? Его нельзя сюда?.. – Я с надеждой смотрел на полковника, но тот, стараясь сохранить реноме радушного хозяина, поморщившись ответил приглушенно:

– Мужики! Не равняйте меня с плинтусом! Надо все же понимать, где мы и кто мы...

Его довод показался нам убедительным.

...По дороге в гостиницу, где нас ждали номера и продолжение банкета, начатого в кабинете Баранова, мы уже вместе с Шелеховым заскочили в редакцию газеты: Сивцов хотел немедленно вернуть картину автору. Потный, покрасневшийся, со взбитым хохолком редких волос, он, словно пуля проскочил к себе в кабинет. Техничка, проводившая уборку, не узнала в нем своего начальника и бросилась звонить в милицию, причитая, что на редакцию напали бандиты. Наши увещевания на нее никак не действовали, а когда Сивцов появился с картиной под мышкой, она от неожиданности выронила трубку, мелко крестясь: чур, меня! Следующие полчаса Сивцов убеждал дежурного по горотделу, что вызов был ложный, и на свою редакцию он напал на вполне законном основании... Получив картину из рук редактора, Василий

долго смотрел на нее, легким, едва касательным движением руки, сбил пыль холста, а в глазах его застыли слезы...

...Ресторанных завсегдатаев Малиновска мы, похоже, немало удивили: мы много пили, говорили длинные и красивые тосты... Потом оказалось, что Сивцов одинаково хорошо умеет танцевать твист, чарльстон и... гопак, а Кирилл шесть раз «на-бис» спел «Таганку», и только мы с Василием пили молча, и улыбались, наблюдая за проделками своих товарищей...

...Финальные аккорды нашего мальчишника звучали в моем номере. Мы пели хором «Бригантину», «Солнышко лесное», «...И вновь продолжается бой», и только к трем часам ночи, устав от выпитого и многократных увещеваний дежурной по этажу, мы приглушили свои разговоры. Кирилл, обняв левой рукой Шелехова, периодически целовал его то в щеку, то в лоб, приговаривая при этом:

– Вася, ты гений! Вася, я тебя люблю!... Васек, зуб даю на отсечение – ты будешь в Союзе художников!...

Ему вторил Сивцов:

– Васек! Ты наш земляк! Чем мы тебя породили...э-э, не так...Мы тебя взрастили на нашей земле, и мы будем гордиться тобой! Я все сделаю...все узнают, кто есть таков Вася Шелехов!...

А он сидел пьяненький, смущенный, и только повторял; «Спасибо, мужики! Спасибо!...»

– Сергей Иванович, – стараясь отодвинуть от себя Кирилла, Шелехов потянулся ко мне, – а ведь я смог! Ты видел часовню? Я смог! Не забыли мои пальцы, не забыли то, что умели...– он держал их перед собой, и глаза его радостно блестели.

– Не забыли, Вася, не забыли...– соглашались мы, тоже изрядно уставшие за этот шальной день.

– Твоя часовня – работа мастера, понимаешь!– Сказал я. – Слышал бы ты, как священник сказал: «Молитва и радение водили кистью этого мастера, а потому и случилось такое благолепие...»

– Так и сказал?– недоверчиво переспросил Шелехов.

– Так и сказал, а не веришь, спроси у ребят....

Сивцов сидел у стола утомленный, с закрытыми глазами, но, услышав мои слова, согласно покачал головой: « Подтверждаю...».

– Васек, это работа не мальчика, но мужа! Мастерская работа!– сказав это, Кирилл снова чмокнул Шелехова в висок.

– Мужики, когда-то один...не очень хороший человек сказал, что меня душит комплекс подмастерья!...Так кто же, я на самом деле, подмастерье или...мастер?

– Мастер!!!– в три глотки дружно рявкнули мы, и принялись обнимать художника...

... Утром (а оно у нас началось ближе к обеду) ко мне в номер вошел взлохмаченный Кирилл и принялся тормозить меня и Сивцова (тот категорически отказался ехать домой и остался спать в моем номере на диване).

– Мужики, надо поправить здоровье!– пробасил он, и мы увидели в его руках бутылку коньяка и желтый шарик лимона.

... После первой настроение у всех стало раздумчивым. Каждый думал о чем-то о своем, морщась и посасывая дольку лимона, и тут только я почувствовал какое-то необъяснимое чувство тревоги, будто накануне я сделал необъяснимую глупость или подлость, но сейчас упорно не мог вспомнить ее суть.

– А где же наш Рафаэль?– вкрадчиво спросил Сивцов, прикладывая бутылку с коньяком к виску, видимо, таким образом он снимал головную боль.

– Да спит еще, наверное, – отозвался Кирилл, – первая ночь на свободе! Представляешь, нет побудки, нет этих поганых и мерзких рож... – ты свободен!..

Я слушал Кирилла, а самого озноб прошиб – я понял причину своего смутного беспокойства и тревоги. Рывком вскочив с табуретки, я бросился к двери, но она в это время открылась. К нам в комнату без стука вошла дежурная по этажу, лицо ее было испуганное и бледное:

– Там...там...в номере ваш товарищ...

...Лишь спустя несколько месяцев после этой трагедии, обговорив со своими товарищами каждую минуту и каждое мгновение того злополучного дня, исказнив себя вдоль и поперек, в один из тихих

летних вечеров я сел за свой рабочий стол в кабинете, и неровным почерком вывел название своей будущей повести – «КОМПЛЕКС ПОДМАСТЕРЬЯ»...

г. Кемерово.